

ПРОСТО О СЛОЖНОМ



РОЗАНОВ

ЗА 90 МИНУТ

ВСЯ МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ЗА 90 МИНУТ!

УДК 1(091)(470)

ББК 87.3(2)

B19

Подписано в печать 08.11.05. Формат 84x108/32.
Усл. печ. л. 5,04. Тираж 5 000 экз. Заказ № 6044

Василий Розанов за 90 минут / Сост. Ю. Малкова. —
B19 М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. — 95, [1] с.

ISBN5-17-034657-3

Василий Васильевич Розанов был одним из самых ярких и парадоксальных философов и публицистов Серебряного века. Он разрушил расхожие стереотипы восприятия сексуальности. Его называли русским Фрейдом (и русским Ницше!). Ему удалось прослыть одновременно и юдофилом и юдофобом...

В книге «Розанов за 90 минут» рассказывается о жизни и творчестве философа, а также содержатся выдержки из его работ и важнейшие даты, помогающие понять место Розанова в его эпохе и философской традиции.

УДК 1(091)(470)

ББК 87.3(2)

Научно-популярное издание

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ ЗА 90 МИНУТ

Составитель: Ю.В. Малкова

*Ответственный редактор О. Сабурова
Художественное оформление А. Филиппова
Компьютерная верстка С. Левина
Технический редактор М. Водолазова
Корректор Н. Натарева*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953004 — научная и популярная литература

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.001056.03.05 от 10.03.2005 г.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 93
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Сова»
195112, г. Санкт-Петербург, а/я № 51
E-mail: ooosova@mail.wplus.net

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Типография ИПО профсоюзов Профиздат». 109044. Москва, Крутицкий вал, 18

© Ю. Малкова, составление, 2006
© ООО «Издательство «Сова», 2006

ВВЕДЕНИЕ

Василия Васильевича Розанова все время хочется как-то «определить»: отнести к какой-нибудь философской школе или, как минимум, запретить в надежную и непротиворечивую «концепцию». Но он решительно не вмещается ни в какие рамки. Юдофоб? Да, безусловно. Юдофил? Еще бы! Революционер? Просто ультра! Консерватор? Из самых замшелых! Буржуа? Конечно! Артист? И это тоже. Вечно изменчивый, вечно неуловимый...

И так бесследно растворился в русской культуре — не ткнешь пальцем и не покажешь: вот это — розановское. И при этом розановское — на каждом шагу.

Циник и парадоксалист, он боялся пафоса. Его философия рассеивалась в мелочах. Мелочи же приобретали философский статус.

...Он хотел начать литературу «с другого конца», воспеть уединение, тепло частной жизни. Не раз его упрекнули в апофеозе тривиальности, назовут философским обывателем, «поэтом интерьерчика». А он оберегал и пестовал «маленькое» в себе. Отвечал на вопрос «что делать?» фразой, которой суждено стать крылатой: «Если это *лето* — чистить ягоды и варить варенье; если *зима* — пить с этим вареньем чай». Вот вам стержень русского быта! «Розановщина — искусство жить по-русски», — емко определит сегодняшний читатель.

«НАД ЕГО ДЕТСТВОМ ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ...»

По происхождению это очень русский философ. Детство и юность провел в самой глубине России. Вектор его первых биографических перемещений располагался вдоль Волги: Кострома—Симбирск—Нижний Новгород. Скорее всего, великая русская река наложила свой отпечаток на характер философа. С Волгой связывают широту его натуры, энергию, грубоватую, порой нахальную манеру общения и даже мечтательность. Волжский размах проявляется в самом ритме его фразы, в динамичном, естественном до неряшливости розановском стиле.

Василий Розанов — единственный из русских философов — не мог похвастать знатностью рода. Родился он в 1856 году в Костромской губернии, в маленьком уездном городке Ветлуга. Мать происходила из обедневшего и разорившегося дворянского рода Шишкиных. Отец умер, оставив восьмерых детей, когда маленькому Васе не было и пяти лет.

Из своих детских лет он вынес осознание нищеты и физической тяжести жизни: «Был я всегда страшно придавлен».

После смерти отца семья переехала в Кострому, где кормились мизерной отцовской пенсией да огородом. С семи лет Василию приходилось носить навоз в парники, таскать, обливаясь, тяжелые ведра с водой: труд каторжный и неблагодарный, — и всегда без единой улыбки, без слова. Не раз свое детство он будет с горечью называть то страдальческим, то опозоренным, то испуганным и замученным. И дело не только в крайней нужде, одолевавшей Розановых. Бедность усугублялась безрадостной обстановкой в доме. Улыбки матери дети не помнили. Раннее вдовство стало для

нее непоправимой бедой, истерзанная нуждой женщина почти не разговаривала с детьми. Самое грустное — маленький Розанов «никак не чувствовал» родных. Не жили, а «проводили дни» в отчужденности, обидах и криках. Не было в семье взаимного тепла и поддержки, старшие дети ссорились с матерью, отлынивали от работы.

Унижение — одно из самых сильных ощущений детства. Унижение, когда посылают купить хлеба на... копейку. Когда ненавистный «вотчим», сожитель матери, порет за табак. Когда приходится пропускать уроки, потому что брюки совсем развалились. «Над его детством хочется плакать», — воскликнет один из биографов.

Попав однажды в гости к учителю, Вася вцепился в стул и заплакал оттого, что в доме могут быть крашенные полы, мир и чистота. «Я вышел из мерзости запустения», «я жил в рухляди», — не раз горько повторит Розанов. Рано столкнувшийся с нуждой, болезнями и смертью родителей, долго не видевший «в жизни гармонии, благообразия, доброты», он навсегда приобретет ветхозаветное, почти толстовское чувство БЫТА: «...Жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, удобен и кругл».

Несмотря на «придавленность», Розанов уже в ранние годы проявлял черты будущего философа: «Я помню, до гимназии, экстаические состояния, когда я почти плакал, слыша эту откуда-то доносившуюся музыку... С нею что-то выливалось в душу и одновременно с тем, как ухо слышало, мне хотелось произносить слова, и в слова „откуда-то“ входила мысль, мысли, бесчисленный их рой, „тут“ же рождавшийся, прилетавший, умиравший или, вернее (как птицы), исчезающий в небе...»

Когда мальчик был во втором классе гимназии, умерла мать, и детей на воспитание взял брат Николай, фактически заменивший им отца.

Общую угрюмость и унылый фон жизни учеба в гимназиях только усугубила. Гимназия для подростка была злым

и смешным домом, «страшно властительным и ничего в своем деле не смыслящим». Учителей боялись и не любили. Учение было искусственно, мертво. Казенный подход к преподаванию прорастил в детских душах меланхолический и разъяренный нигилизм — абсолютное отрицание культурных норм и ценностей. Симбирскую гимназию Розанов называет родиной своего нигилизма.

Но все же это были годы воистину безумной любознательности. Увлечшись, как и многие сверстники, материализмом и позитивизмом, он конспектирует «для себя» книги писателей позитивистского направления: «Физиологические письма» К. Фохта, «Историю цивилизации в Англии» Г. Бокля и другие. Ему нравилось, что позитивисты уважают только конкретные научные знания и факты, ориентируются на естественные науки и опыт, отвергая сухое теоретизирование. Ночами Розанов запоем читает Белинского, знакомится с революционно-демократической критикой, усваивая из статей Добролюбова и Писарева «обыкновенный русский» атеизм. Пережитое им за время обучения в симбирской гимназии оказалось более важным и влиятельным, чем затем в старших классах нижегородской гимназии и даже в университете. Он осознал в себе мысль и личность, в него «вошла душа».

Интересную игру придумали гимназисты, восставая против обезличенной и формальной системы обучения. На последних курсах Розанов с товарищами, движимые страстью к познаниям, организовали «кружок шалопаев, любящих философию». Составили что-то вроде классификации наук и распределили их между собой. Изучали каждый свое и составляли рефераты. Затем прочитывали их на общих еженедельных собраниях: «У нас был энтузиазм, вера в науку и углубленное философское о ней размышление». Эта «малая Академия» положила начало той энциклопедичности, разнообразию интересов и знаний, которые проявятся в дальнейшем творчестве философа.

«КАК ХОРОШО, ЧТО Я ПРОСПАЛ УНИВЕРСИТЕТ»

За перепады настроения, за приступы хандры, которым он бывал подвержен, приятели прозвали его «Васей кладбищенским». Он мог неделями не спускаться из своей комнаты. Но угрюмым его молчание казалось только для окружающих — для него же это было любимое, прекрасное молчание. Параллельно в душе подростка шла невидимая глазу другая, внутренняя, жизнь. Он был поглощен воображением. «Мне кажется, такого „задумчивого мальчика“ никогда не было, — описывал он себя. — Я „вечно думал“, о чем — не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты...»

Двадцатидвухлетний Розанов поступает в Московский университет на историко-филологический факультет и сразу попадает под живое безотчетное обаяние его «громадной коллективной личности». Филолог-славист Ф. И. Буслаев, историки С. М. Соловьев и В. И. Герье, филолог Н. С. Тихонравов, В. О. Ключевский, который «творил» лекции, как вещая птица, — живые классики всходили на кафедры, открывая для него науки. Суть университетского образования молодой Розанов видел в намагничивании друг другом людей, объединенных одной мыслью. Позднее, с теплом вспоминая своих профессоров, Розанов подчеркивал, что это были глубоко верующие люди. Вера была основанием их благородства и всего созидательного отношения к жизни. Отход самого философа от юношеского атеизма связан в немалой мере с учебой у этих профессоров. Для Розанова это был поворот к духовной зрелости. Уже с первого курса он перестал быть безбожником: «Не преувеличивая, скажу: Бог поселился во мне».

Но, несмотря на то, что университет переживал в те годы свой расцвет, в методике преподавания преобладал пози-

тивистский анализ конкретных фактов, вне обобщающей системы. Не было, как увидит Розанов, науки в целом. Вместо материка, которого ждали, — огромное множество островов, ни к чему не примыкающих, отдельные рассказы об островах. А ведь именно юношество нуждается в целостной картине мира. Тогда-то и стали очевидны недостатки позитивизма, совсем недавно так привлекавшего его. «Как хорошо, что я проспал университет. На лекциях ковырял в носу, а на экзамене отвечал „по шпаргалкам“», — полушутя скажет философ. Он поклялся, что никогда его нога не будет стоять на одном полу с позитивистами. Как назло, лекции по любимому предмету — философии — читал нелюбимый М. М. Троицкий, сторонник позитивизма и ярый противник метафизики. Это он, Троицкий, на выпуске предостерегал Розанова от стремления к оригинальности.

Не удивительно, что уже в первой своей оригинальной работе философ поставит цель — очертить общее строение науки, то, чего так недоставало университетским курсам. «О понимании» — будет называться эта работа, которую он определил в запальчивости как семисотстраничную полемику против Московского университета. Писать эту книгу он стал от... отвращения «от ничего не объясняющих знаний, хотя бы новых и интересных в самих себе». Розанову важно было осмыслить связь человека с наукой, путь восприятия всей системы знаний. Он пытался понять, «как в нас заложено», «как из нас растет», и приходила на ум идея живого роста дерева из зерна.

«ПОНИМАЮЩИЙ СРЕДИ НЕПОНИМАЮЩИХ»

Василий Розанов вынашивал свой первый грандиозный замысел на последнем курсе университета, из-за него отказался писать магистерскую диссертацию, не желая заниматься «посторонними предметами». Он работал над книгой в Брянске, где какое-то время учительствовал. Писал ее вдохновенно и радостно долгие четыре года, откладывая деньги, чтобы издать работу за свой счет.

Трудно поверить, но Василий Розанов, интимный и доверительный, как знаем мы теперь, когда-то рассматривал понимание отнюдь не как психологическую или коммуникативную проблему, а как научную категорию. Звучало вполне в духе академической философии: «Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». По охвату философской проблематики это самое фундаментальное из всего, что он когда-либо напишет. Познание самого процесса познания — древняя и серьезная задача философии, задача гносеологическая. С точки зрения многих его современников, Розанов в этом труде «переоткрыл» ряд идей Гегеля. Теперь можно сказать, что по своему стилю работа очень близка философствованиям античных мыслителей. Примечательно, что к рассмотрению философских начал цельного знания обращался и старший современник Розанова Владимир Соловьев.

Книга состоит из трех частей:

- 1) определение науки;
- 2) строение науки: познающее (разум), познавание (процесс) и познаваемое (стороны бытия);
- 3) о соотношении между наукой и природой человека.

Понимание, по Розанову, — это система знаний, полностью удовлетворяющих разум человека. Что же может его

удовлетворить? Для этого философ берётся исследовать саму природу разума. Человеческий разум — потенция познания. Подобно тому, как зерно потенциально содержит в себе формы растения, разум содержит схемы, определяющие познание. Оказывается, все познаваемое изначально существует в понимании — распределено в нем, содержится в его формах, но только еще закрытое, непознанное.

Известно, что растение может вырасти из семени лишь с приданием его земле. Так и в разуме может возникнуть познание при условии, что он воспримет материальный мир через органы чувств, как через питомники-корни. Система знаний, соответствующая всем схемам разума и одновременно обнимающая все стороны бытия, и есть истинное понимание.

При этом для понимания существуют два глобальных объекта — космос и мир человеческого духа. Необходимо постичь их семь сторон, или, по выражению автора, семь идей: существование, сущность, свойства, происхождение (причину), следствие (цель), сходства и различия, число (количественные характеристики).

Понимание — это первейшее назначение человека, оно коренится в его первозданной природе. Таким образом, философ полагал, что он нашел иную, нежели счастье, цель человеческой жизни — более естественную, более полную, интимную и общественную. Заметим, что в одной из ранних студенческих работ Розанов объявлял счастье верховным началом жизни. Теперь это казалось ему слишком утилитарным.

Понимание по Розанову не может быть подвержено никакому изменяющему влиянию. В этом смысле понимание противопоставлено науке и абстрактной философии. Наука и философия носят промежуточный, частичный характер. Они не изучают всего бытия в его целостности и во всей полноте его частностей. Тогда как понимание носит исчерпывающий характер, оно глобально, это «полный орган ра-

зума». Понимание завершает деятельность разума и дает ему успокоение. Приобретая понимание, разум переходит к созерцанию истины. Истинное понимание, может быть, сродни религии: человек остается наедине с творцом и своей природой, он словно перемещается в другое пространство.

Тут строгий философ становится на минуту художником и создает поэтическую метафору волны-мысли, «раскрывающиеся формы которой охватят разбегающиеся формы бытия». Подхватив его образ, отметим, что уже в первом его труде нам становится очевидным размах розановской мысли — открытой, беспристрастной и нескованной. Философ терпеливо вглядывается, погружается в глубины размышлений — он именно ПОНИМАЕТ. Можно сказать, что понимание — это и тема исследования, и его прием.

Константин Леонтьев высоко оценил книгу начинающего философа, назвав ее открытием. В любой другой стране такая книга стала бы серьезной вехой в развитии теоретической мысли и уж во всяком случае принесла бы известность автору. Но в России она попросту осталась незамеченной. По слухам, Аполлон Майков, один из немногих благодарных читателей, пожелал оповестить министра народного просвещения, что у него профессора философии учат географии елецких юношей, а в университете читают философию учителя географии из уездных училищ.

Большая часть нераскупленного тиража была возвращена автору и продана на макулатуру: трактат о понимании не поняли. И Розанов навсегда распрощается с классической философией. «Встреть книга хоть какой-нибудь привет, — я бы на всю жизнь остался „философом“. Но книга ничего не вызвала... тогда я перешел к критике». Кто знает, может, этой неудаче мы обязаны рождением нового Розанова — публициста, критика и писателя. Ведь в «О понимании» нет ни тени того блестящего, острого стиля, которым будут отмечены его позднейшие труды. «В отдельных местах прорывается своеобразие автора, но все же трудно узнать в

этой книге Розанова: вся она тяжелая, тусклая, насыщенная чем-то схоластическим», — отмечал биограф Голлербах. Слог и вправду был тяжеловесным, неудобочитаемым. Это признавал и сам автор, хотя ценил ее до последних дней.

«ГЕНИАЛЬНОЕ ПОРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ»

Можно сказать, что Розанов развивался не «благодаря», а «вопреки». Вопреки тягостной, раздражающей сутолоке «мамашинного гнезда» рождалась его созерцательная задумчивость: «С детства я взял привычку молчать (и вечно думать)... И все бывало во мне зреет, медленно и тихо...» Вопреки гимназической скуке и бездумной зубрежке — уединенные размышления и груды «своих» книг. И позднее, вопреки неблагоприятным, как бы сейчас сказали, обстоятельствам — заходила в истерики жена, ученики дразнили козлом и срывали уроки — он кропотливо и увлеченно писал «О понимании». С детства он умел, когда надо, отрешиться от внешнего мира, отделиться от действительности, лелея свою «затаенность».

Потому-то и в провинциальном Ельце, невзирая на унылую рутину учительства и незадавшийся брак, его духовная жизнь была насыщена. Обогащало ее заочное знакомство и дружеская переписка со старшими мыслителями и единомышленниками — философом Н. К. Леонтьевым, критиком Н. Н. Страховым, педагогом С. А. Рачинским. Все они были консерваторами, хранителями традиционных элементов — семьи, религии, воспитания, народных обычаев — и сделались для Розанова своеобразными духовными ориентирами. Надо сказать, что молодой корреспондент в этой переписке проявил интеллектуальную одаренность, в кото-

рой его адресаты сумели увидеть «гениальное порождение русской провинции».

Особое влияние оказал «мудрый созерцатель», «тихий писатель» Н. Страхов. Он стал одновременно его крестным отцом и «литературной нянькой», первым читателем и первым строгим критиком статей. Страхов, например, обратил внимание начинающего философа на идеи представителей русской консервативной традиции Аполлона Григорьева и Н. Я. Данилевского. Антинигилистическая позиция Страхова получит отзвук в резких высказываниях Розанова о революционной интеллигенции как о «наследстве 60-70-х годов», от которого следует отказаться. Горячая любовь критика к творчеству Пушкина, Достоевского, Толстого окажет сильное воздействие на его собственные литературные интересы и пристрастия.

Большой идейный авторитет для молодого Розанова — религиозный философ и литературный критик Константин Леонтьев, «оптинский отшельник». Он так же, как и Страхов, не приемлет нигилизм, который угрожает подорвать общественные принципы, сложившиеся веками. Борьба с нигилизмом станет основным направлением русской темы у Розанова, с годами усиливаясь от тревожных нот до отчаянного крика в последних произведениях. Именно нигилисты разрушили великую дворянскую культуру от Державина до Пушкина, «русское царство».

Сам Леонтьев называл себя идейным консерватором. К ценностям, в которые он верил, прежде всего относятся византийско-православное христианство, прочная монархическая государственность и «цветущая сложность» культурной жизни в ее самобытных национальных формах. В работе Леонтьева «Византизм и славянство» Розанов проясняет для себя смысл консерватизма, цель которого, считал Леонтьев, заключается в том, чтобы предотвратить разложение нации, вернуть ее, пусть насильственно, к культуре создавшей ее государственности.

Еще один момент философии Леонтьева неожиданно привлекает елецкого учителя — уподобление развития истории развитию биологических организмов. Впрочем, понятно, почему. Розанов, всю жизнь мучающийся раздвоенностью человека, противоречием плотского и духовного в человеческой природе, увидел возможность рассмотреть чисто биологическое существование как осмысленное, наделенное духовным и космическим значением. Леонтьев подчеркивал естественно-органический характер исторического развития. Он писал о «триедином универсальном процессе», имеющем место и в природе, и в обществе, а значит, о стирании грани между разумным и неразумным существованием. Розанову, так же как и Леонтьеву, неприятна идея исторического развития, прогресса. Он способен восхищаться статической данностью жизни. Фактически именно под влиянием Леонтьева сложился в философии Розанова эстетический подход к действительности, к истории. Суть его: все мерила снимаются ради эстетики. В очерке «Старое и новое» Розанов воспекает разнообразие жизни, ее удивительность. Он влюблен в большой и красивый мир вокруг, совершенно достаточный, чтобы долгие годы любоваться различными его уголками, коллекционировать новые впечатления. В своем эстетическом понимании истории автор ратует за красивые государства, слои общества, за красивую культуру и религию, за все необычайное. К истории молодой Розанов относится, как к картинной галерее, — можно глядеть на нее как на нечто постороннее и при этом восхищаться шедеврами. Изучение историософских трудов Леонтьева подтолкнуло молодого Розанова к собственным размышлениям на эту тему.

А вот из статей Аполлона Григорьева, который опирался на учение Шеллинга об интуитивном постижении жизни искусством, Розанов усвоил некоторые методы «органической критики». Одна из центральных идей Григорьева состоит в том, что мир — это единый организм, а произведение

искусства — модель мира, и поэтому на литературной критике лежит величайшая ответственность перед людьми. Розанову была близка мысль о том, что критик обращен к живым потребностям «общественного организма». Сам он на протяжении всего творчества не уставал подчеркивать: от мастеров художественного слова зависит духовное здоровье нации. И в решении этой задачи не последнюю роль играет критика. Сейчас, изучая критический метод Розанова, говорят о переключке его с органическим подходом Аполлона Григорьева, для которого, например, характерны восприятие писателя как посредника между реальностью и миром истины, исповедальное начало, «детскость» и ассоциативность мышления, создание особых телесно-вещественных образов.

Возможно, благодаря всем этим влияниям литературно-критические статьи Розанова выглядели философскими конструкциями, эссе, «опытом» и менее всего — классической литературной критикой. В них речь идет не о самих произведениях, а о восприятии их содержания, о «понимании» литературы. Более того, их трудно отнести и к какому бы то ни было философскому направлению или школе: розановская мысль вне философских традиций затрагивает проблемы гносеологии, натурализма, психологизма.

«ДОСТОЕВСКИЙ ПИСАЛ МОЮ ДУШУ»

Еще в гимназии возникла длившаяся всю жизнь любовь Розанова к Ф. М. Достоевскому. Философ навсегда запомнил свою первую в девятнадцатилетнем возрасте «ночную» встречу с романом «Преступление и наказание». И с тех пор Достоевский стал для него вечным спутником, самым родным, самым «внутренним» писателем. Розанов читал его,

«как будто слушал свою же душу». И при этом всю жизнь стремился постичь тайну мастерства Достоевского.

Сам Розанов чем-то похож на героев Достоевского, мечтавших об абсолюте, но не находивших его в реальности бытия. По образному выражению Н. Бердяева, «Розанов зародился в воображении Достоевского». Действительно, можно усмотреть параллель между образом «человека из подполья» и автором розановской поздней прозы. Само розановское понятие «уединения» родственно образу «подполья».

Обоих писателей роднит и неприятие позитивизма, «общественности», людей «с правилам поведения». Оба ощущали собственную отчужденность в этом мире. Близка им обоим была и тема «маленького человека», его противостояния социальному злу, хотя понимание данного зла и пути его преодоления не совпадают.

В своих, порой блестящих и всегда крайне парадоксальных, критических статьях Розанов занимался почти исключительно Достоевским и Гоголем, одного боготворил, а другого ненавидел. Главным и наиболее известным его сочинением стала опубликованная в 1891 году «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария». В отличие от первого непонятого трактата «О понимании», работа о Достоевском имела большой успех. Так и восприняли его современники — вошедшим в литературу с именем Достоевского на устах.

Смелость молодого критика проявилась в том, что он дерзнул досказать за Достоевского те идеи, которых сам писатель не успел или не хотел выразить.

Труд Розанова о Достоевском начинается с жестокой критики творчества Гоголя. Гоголевские карикатуры на окружающий мир не есть отражение действительности. Бездушные гоголевских героев является, по мнению Розанова, прямым следствием бездушия самого автора, равнодушного к добру и злу. Вся последующая литература явилась не продолжением, как принято считать, а отрицанием Гоголя,

ибо обратилась к человеческой душе. И если Гоголь был живописцем внешних форм, то остальные: Тургенев, Достоевский, Островский, Гончаров, Лев Толстой — обнаружили тонкое понимание внутренних движений человека. Признавая и Толстого, и Достоевского писателями-психологами, Розанов первенство в совершенстве изображения отдает все-таки Толстому. Зато первенство в глубине изображаемого — Достоевскому. Любимого писателя отличает от «хочущего» над жизнью Гоголя чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Он открывает мир нестерпимых человеческих мучений и ищет пути выхода из них.

В «Легенде...» Розанов подробно анализирует основные этапы духовного развития Достоевского, подчеркивая, что уже в ранних произведениях тот поставил вопрос о внутреннем мире человека. А в романе «Преступление и наказание» им разгадана глубочайшая тайна человеческой природы: раскрыт великий закон о «непереступаемости» человеческого существа, его абсолютности.

При этом Розанов ощущает некоторый алогизм романов Достоевского. Ему кажется, что в них есть идеи и настроения, не вытекающие из простой суммы действий героев. Все, что мы наблюдаем в человеке, что о нем знают другие, и даже что он сам знает о себе, не исчерпывает полноты его существа: в нем есть нечто иное сверх этого, нечто главное. Любой поступок оказывается значителен не сам по себе, а как действие духовное. Страдания Раскольникова не понятны уму: он сам до конца не понимает, почему ему нельзя было убить процентщицу. Все, что совершается в его душе, иррационально и мистично, и Розанов это чувствует. Дело в том, что Раскольников, нарушая законы общежития, вступает в конфликт с невидимой душой жизни. Эти духовные незримые начала жизни — Розанов их называет «швы мироздания» — постигает автор романа и навязывает Раскольникову мучения, всей тяжести которых он мог бы не испытывать (как человек средней духовной глубины). Их

испытывает сам Достоевский — вот это воздействие авторского мироощущения на развитие сюжета Розанов и фиксирует. По Достоевскому, сплетение в единый клубок людей, их судеб образует незримый фундамент мира. Мир предстает тесным, где любое личностное своеволие становится роковым толчком и грозит нарушить жизненное равновесие. Теснота и хрупкость жизни ведут к тому, что итогом борьбы между людьми станет торжество хаоса. И Розанов это воспринимает как вполне реальное будущее — угрозу человечеству. Вот почему в духовном социуме движения должны быть крайне ограниченны.

Образы последнего романа Достоевского Василий Розанов толкует как символы. Старик Карамазов для него — символ смерти, яркая метафора общественного разложения, гниения духа всего общества. Остальные герои: Иван, Алеша, Дмитрий Карамазовы — воплощают центры борьбы со злом. У каждого своя роль в этой борьбе. Алеша, например, — это олицетворение малого ростка в огромном гниющем семени жизни. Процесс умирания старой жизни ведет к обнажению добра и зла, к их открытому противостоянию, как доказывает Розанов. И падение, смерть, разложение — это только залог новой и лучшей жизни.

В Иване Карамазове критику видится дерзостное противостояние злу, влекущее к гордыне. Оно чревато презрением к жизни и ее создателю. Обострение чувства справедливости — это, в представлении Розанова, изнанка бунта, хотя и благородная. Но на бунт против мироустройства человек не имеет права по самому своему положению в мире. «Да, — соглашается Розанов, — несовершенство мира является источником страдания». Но страдание необходимо для предохранения души от животной или сатанинской сытости. Розанов подчеркивает важность очищающего значения всякого страдания, его искупительной силы.

Конечно, Розанов нагнетает трагизм «Братьев Карамазовых», гиперболизирует его космизм. Это упрощает идеи

и образы романа, даже отчасти вульгаризирует их, но вместе с тем делает более яркими, броскими. Так, если образ старика Карамазова зловеще обобщен, то образ Ивана дан болезненно волнующим. Тут чувствуются и юношеская искренность, и чистосердечие начинающего критика.

«Легенду о великом Инквизиторе» Розанов считает вершиной всего творчества Достоевского. Для него это всемирное по масштабу пророчество грядущего натиска зла. Философ задается вопросом, откуда идет это зло. И размышляет об этом в духе славянофильства. Он противопоставляет Россию и Европу, осуждая «эгоистически-рассудочную» европейскую цивилизацию с ее пренебрежением к человеческой личности. Великий Инквизитор в глазах Розанова — носитель движущей идеи Римской Католической Церкви, носитель авторитета, предлагающий покорность и счастье взамен страдания и свободы.

В книге о Достоевском розановский взгляд на жизнь романтичен и мрачен. Критик суров вплоть до требования аскетизма, самоотречения. Мир идей и героев Достоевского для него — мир напряженнейшего духовного бытия, мир православно-христианский. В целом эта книга Розанова наиболее православна по духу из всех его крупных философско-публицистических сочинений. В ней нет еще ни тени розановского стихийного язычества. Это позднее с увлечением язычеством в круг идей Розанова проникнет спонтанное, незаконное жизнелюбие.

Как правило, современники редко понимали творчество Достоевского во всей его глубине, проходили мимо открытия «широкости» человеческой личности, объединяющей добро и зло. Розанов здесь не исключение. В мире нравственного непокоя, страстей и борьбы он чувствует себя неуютно, ищет исхода. Розанов хочет найти примирение обнаруженных романистом коллизий бытия, помочь обрести читателю некую верховную истину. В этом он строго придерживается этики: надо обличить порок, поддержать доб-

родетель и указать праведный путь. Розанову хочется «подправить» идейное содержание романа Достоевского, найти окончательную точку зрения. Ради этого он лишает «Легенду...» многомерности: стремясь доказать тотальную неправоту Великого Инквизитора, он фактически подрывает собственную Достоевскому антиномичность художественного мышления. Забывает, что художник может допустить две противоречащие друг другу, но одинаково обоснованные позиции, две правоты. Он пытается как бы приручить Достоевского, направляя его творчество в русло христианской метафизики, где торжествуют неизменные и четкие начала всего существующего. Критик обрушивается на диалектику, которая, по его мнению, опасна. Диалектикой подкапываются основы бытия человеческого, диалектические антиномии способны поколебать устои религии. Это страшно. Целостность мироощущения человека может быть восстановлена только на религиозной основе, на фундаменте Церкви. В Достоевском же он видел гибкого диалектического гения, у которого едва ли не все тезисы переходят в отрицание.

Не надо забывать, что сам Розанов в период критики «Легенды...» еще «не был зрел» и благоговел перед христианством. Если бы только Розанову показали его самого через десяток лет! Когда он не только откажется от опровержения «диалектики», но и станет настоящим «диалектическим гением», и все его писания будут буквально пронизаны диалектическими противоречиями. В «Опавших листьях», например, противопоставляя «диалектике» Достоевского «убеждения» Толстого, он уже отдает предпочтение первому: противоречивость есть признак «жизненности», «сердечности», диалектика создает особую «музыку души». А вот в Толстом, согласно автору, «нет дорогого», из убеждений его вообще ничего не выходит, кроме стоп бумаги. Так что будущий Розанов в работе о «Легенде...» почти совсем не проглядывает.

«СУМЕРКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Между тем повседневная жизнь — это и учительские будни в глухих городках: в Брянске, а затем в Ельце — в Белом. Он вернулся в ту же провинциальную косную гимназическую среду, из которой вырвался с такими надеждами всего четыре года назад. Все яснее становилось самому писателю, что он чужд учительству: «Форма: а я бесформен. Порядок и система: а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался в тайне души комичным». И все же одиннадцать томительных лет придется ему учительствовать в провинции, прежде чем он переедет в Петербург и станет чиновником.

Его волновали глобальные проблемы: о цели человеческой жизни, о потенциальности, о счастье, а гимназистам требовалось преподавать историю, рассказывать о королях и полководцах, о количестве свиней в Чикаго и системе Великих озер. Приходилось постоянно говорить о том, что не интересует, и молчать о том, что занимает. Это было мучительно. Он боялся, что сам делается точь-в-точь таким же угрюмым, печальным, на всех и все сердитым учителем в мундире. Тяготило и окружение: ученики над ним посмеивались, а коллеги-учителя, узнав о вышедшей книге, дразнили «понимающим среди непонимающих». Впрочем, сегодня иронию можно отбросить.

Впоследствии Розанов много будет размышлять о состоянии школы, о воспитании. О том, как образовать русского человека и как образовать его именно русским. О том, что есть педагогика — «ремесло ли, искусство ли». Конечно, он будет вспоминать тоскливые годы обучения в гимназии, а также свой незадачливый педагогический опыт. Его размышления сложатся в цикл статей с характерным заголовком «Сумерки просвещения» — более десяти статей он напишет

на эту тему в 90-е годы XIX века. Розановская «педагогическая книга» со статьями вышла в 1899 году и сразу оказалась в эпицентре дискуссий — в то время велись активные поиски преобразований русской школы. Без преувеличения можно сказать, что Розанов вплотную подошел к построению концепции образования и воспитания.

Писатель одним из первых понял принципиальные причины застоя в развитии отечественной школы: ее подражательность, карикатурное копирование европейских традиций (особенно претило ему искусственное выращивание личности по Руссо) и, главное, непомерное давление на нее российских государственных указов.

Застой в русской школе Розанов связывал прежде всего с нарушением трех принципов образования. Эти принципы он считал необходимым восстановить. Во-первых, принцип индивидуальности, который мы сегодня часто называем индивидуальным подходом. При этом не только ученик, но и предлагаемый учебник должны сохранять «особенность»: учить надо по первоисточникам, а не по их безличным переработкам. Во-вторых, принцип целостности, основанный на том, чтобы всякое впечатление, затрагивающее душу, не прерывалось другим до тех пор, пока оно не «провзаимодействовало» с душой. В-третьих, принцип «единства типа». Все впечатления, воздействующие на душу ребенка, должны быть непременно одного «культурного типа», а не разнородны или противоположны.

Перечитывая сейчас составившие книгу статьи с символическими названиями: «Семья как истинная школа», «Педагогические граффити», «Беспочвенность русской школы», думаешь: как же мало было реализовано в российском образовании с тех пор! Задачи, которые резко и определенно выдвинул В. В. Розанов, побуждаемый своим личным опытом, и сегодня насущны. Хотя вместе с тем мы понимаем, что он беспощадно осудил далеко не худшую систему образования. И не какие-то детали: перегрузку учащихся, отсутствие совместно-

го обучения, — нет, он отвергал школьное обучение целиком, ибо был убежден в абсолютной его порочности.

Большим недостатком мыслитель считал отсутствие в отечественной педагогике идей национального образования и воспитания. Можно было бесконечно спорить о том, какой предмет, в каком объеме и как изучать, но из-за этого русская школа не избавлялась от главной беды — беспочвенности. Основой национальной школы в России должно стать изучение своей оригинальной культуры. Такая школа дает единственную возможность воспитать из детей настоящих граждан своей страны. Здесь философ выступает с позиций почвенников, которыми были Аполлон Григорьев, Н. Н. Страхов и его любимый Ф. М. Достоевский. Они придерживались идеи о «национальной почве» как основе социального и духовного развития России. Констатируя при этом разрыв образованной части русского общества с народной «почвой», почвенники видели в духовном единении сословий способ сохранения самобытности страны.

Критикуя новоевропейскую систему образования, Розанов сравнивал ее с созданием гомункулуса — искусственного существа. Сформировать нового «универсального» человека — это же надуманная цель воспитания! Фиктивная идея неизбежно породила «фиктивное образование», в котором, чтобы воспитать «человека и гражданина», была создана искусственная и эклектичная система. Вы спросите, в чем эклектичность классического образования? Оказывается, ученику одновременно предлагают три разнородные системы ценностей, в разное время существовавших в Европе: культуру античной древности, средневековой христианской и нового времени, основанной на научном познании. Между тем ценности разнородных культур несовместимы, их невозможно усвоить одновременно. Таким образом, вместо «культы», древнего опыта приобщения к «жизни», всегда имевшего сакральный смысл, ученик получает сумму фактов и должен ее механически усвоить. Отсюда, счи-

тал мыслитель, берет начало процесс «безжизненности возрастающих поколений». Постепенно деградируя, образовательная система вообще отказывается от поиска «общей идеи» образования, сосредотачиваясь на методических деталях.

Что же предлагал русский мыслитель? Он настаивал на изменении прежде всего самого отношения к образованию. Розанов был противником любых вариантов «казарменного обучения». Он мечтал о «новой школе», которая основывалась бы на идеале свободного общения между учителем и учеником. Надо отказаться от массовых форм обучения — они препятствуют диалогу педагога и воспитанника. Столь же решительно писатель выступал и против возникшего разрыва между школой и жизнью. Изучать вместо реальной жизни ее схемы — это, согласно Розанову, главный порок современного образования. А целью его должно быть укоренение человека в определенной культурной среде, то есть полное внутреннее принятие им ценностей одной какой-либо культуры. Для этого каждая конкретная школа должна использовать материал только одной из европейских культур, полностью исключив элементы других. Но ничто не мешает распределять культуры по различным типам учебных заведений — вот вам идея вариативности образования. Наряду с отстаиванием, как бы сейчас сказали, культуросообразного подхода, Розанов решительно выступал за его развивающий и лично ориентированный характер. Прекрасно, если процесс обучения будет насыщен исследовательской и опытной деятельностью школьников. Ведь это сопровождается яркими эмоциональными переживаниями: «озарениями и просветлениями», вызванными поиском истины.

Главный педагогический вывод, который делал В. В. Розанов, заключался в следующем. Есть только два пути в педагогике: естественный и искусственный. Естественный путь — это гармоничное воспитание, которое состоит из

«непосредственных созерцаний» и определяется совокупностью исторических, культурных и бытовых традиций. Искусственный же путь порождает «образование вне истории и вне жизни». Эта идея полностью ориентирована на «условные абстракции». Но живому человеку требуется конкретный духовный центр жизни, и образование не может игнорировать эту его потребность. Розанов и в более поздние годы не потерял интереса к педагогическим проблемам.

Конечно, не со всеми его идеями можно согласиться, не говоря уже о «воспитании розгами», за которое он ратовал. Трудно принять и другие его не вполне «демократические» предложения. Например, он полагал, что учебный процесс должен ориентироваться на талантливых, а не на средних учеников. Ему возражали сторонники «педагогических трафареток», как он их называл. Те считали необходимой в первую очередь заботу о детях со средними способностями. Ответом романтика от просвещения стала статья «Основы современной школы», где он развивает свой тезис об умственном аристократизме, обязательном для школы.

Но в целом в среде тогдашнего учительства «Сумерки просвещения» считались лучшей книгой по теории новой педагогики.

«ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ»

С начала 90-х годов XIX века в творчестве Розанова «философия понимания» уступает место своеобразной «философии жизни». Отвлеченные идеи и теории уже не кажутся ему важнее жизненной реальности. Он становится семейным человеком, и простой опыт жизни, расширение наблюдательности, завязавшиеся живые связи с людьми — все это меняет его как философа.

Вообще, «философия жизни» — это иррационалистическое философское течение, к которому принадлежали Ницше, Дильтей, Бергсон. В их понимании жизнь — это первичная реальность, а не какая-то абстракция. Она представляет собой целостный органический процесс, слитность материи и духа. Непрерывно творчески развиваясь, она противостоит всему механистическому, застывшему. Философия жизни не подчиняется стройным рациональным построениям.

Вот и Розанов, условно говоря, становится «философом жизни»: теперь его интерес направлен на саму плоть жизни, ее живые противоречия, боли и радости. Меняется и манера изложения его работ: на смену стилю философского трактата приходит эмоциональная публицистика. Он словно осознал, что жизнь — это не задача, которую надо решить, а картина, которую пишешь. Розанов избегает системности и внешней последовательности в изложении, опасается и однозначных дефиниций. Философ пытается охватить любой рассматриваемый вопрос кольцом противоречивых суждений. Так, Розанова-гегельянца и систематика сменил Розанов-художник и интуитивист. Он неясен, загадочен, интригуяще изменчив. Многие идеи так и остаются на уровне непосредственных ощущений. Все завершенное, превращенное в окончательную данность, в окостеневший факт Розанов не принимает. Он любит нечаянные, мгновенные настроения, мимолетные видения за их внерассудочный, доразумный характер. Он чуток к оттенкам, мельчайшим изгибам жизни, поскольку зачастую именно они решают все. Факты не выстраиваются в его статьях и очерках в систему доказательств, а становятся деталями художественных образов. Публицист по-настоящему владел мышлением художественными образами.

«ТУТ МОЯ СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ И СЫГРАЛА РОЛЬ»

В его сочинениях возникает особый тон доверительности. «Есть у Вас такие страницы, к которым, кажется, если приложишь руку, то почувствуешь теплоту и биение крови», — писали ему. На его статьи хочется отвечать, они вызывают широкий читательский отклик, и, в свою очередь, письма читателей Розанов щедро включает в книги.

Сегодня обширное собрание его сочинений можно без натяжек воспринять как автопортрет или бесконечный дневник. Теперь интимный исток питает все его работы. Личный интерес для него — отправной пункт любого рассуждения.

Именно личные обстоятельства способствуют тому, что в центре его внимания оказываются вопросы семьи и пола, брака и развода: «Тут моя семейная история и сыграла роль. Все выросло из одной почки».

А семейная история писателя разворачивалась драматично, даже трагически. Вспомним, что Розанов буквально вырос из Достоевского. Говорили, что он один «не струсил перед его безднами». Встреча с Аполлинарией Суловой, бывшей возлюбленной великого писателя, стала для него и символической, и роковой. Уже в студенческие годы Розанова безумно привязала мучительная сила этой женщины, как он позднее объяснял — психоз. Было в ней, вероятно, и в самом деле что-то гипнотическое: гордая, страстная, «страшно стильная». Он признавался, что влюбился в самый стиль ее души: «Что-то из средних веков и из католических кафедралов», «у нее был чудный закал... и никакого быта, никакой способности к повседневной жизни».

Двадцатичетырехлетним Василий Розанов с величайшими надеждами заключает брак с этой сорокалетней «опытной кокеткой». Многие полагали, что это был книжный, не-

естественный брак. Называли его философским экспериментом, с помощью которого Розанов искал тайные пути к Достоевскому.

Как бы то ни было, семьи не сложилось: совместная жизнь с «полу-нигилисткой, полу-Настасьей Филипповной» (героиней «Идиота») становится ужасным несчастьем, позором, «прямо огненной мукой». Как верно Достоевский о ней писал в одном из писем: «Аполлиария — большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям». Нервная, самовлюбленная, отравленная духом эмансипации, Суслова унижала супруга, терзала его изломами своего нрава и ревностью. Не о ней ли он вспомнит, когда будет описывать муже-дев в своей работе «Люди лунного света»? Принципиально бездетная, она обожала Медею, уничтожившую собственных детей. О каком семейном счастье тут можно говорить?

Суслова бросила «учителишку», не пожелав дать ни объяснения, ни развода. А когда он, наконец, нашел в себе силы оборвать почти десятилетнюю болезненную связь, мстительная женщина на всю его последующую жизнь наложила «злую лапу». Второй брак писателя долго оставался в глазах церкви и государства незаконным, а дети не могли получить фамилию отца.

«Моя „новая философия“, уже не „понимания“, а „жизни“, началась с великого удивления», — вспоминал позже Розанов о знакомстве с семейством своей новой жены. В первый раз в жизни он увидел благородных людей и благородную жизнь. Было что-то «благословенное» в самом доме: «И никто вообще никого не обижал... Тут не было совсем „сердитости“, без которой я не помню ни одного русского дома». Так же будет он выстраивать и свою жизнь с «другом».

Гражданский брак Розанова с вдовой Варварой Дмитриевной Бутягиной, женщиной удивительного спокойствия и ясности души, был редкостно счастливым, хотя и парадоксальным в глазах окружающих: «первый интеллеktуал — и почти неграмотная русская баба». Ничего здесь не было, даже отчасти напоминавшего взаимоотношения с первой женой. И хотя Варвара Бутягина была далека от интеллектуальных интересов мужа, он считал ее «нравственным гением».

«Вечное детство брака — вот что мне хочется проповедать. Супруги должны быть детьми, должны быть щенятами...» Идеал Розанова — ветхозаветная семья, символ наполненности человеческого бытия, его интенсивности. Исследуя сущность счастливого брака и Древний Восток, Розанов на практике, «здесь и сейчас», создавал такой счастливый брак с простой женщиной, «любящей и обожаемой». Именно она, жена, друг, будет определять самые главные направления творчества писателя. Он и псевдоним себе возьмет — «В. Варварин». В 1891 году происходит тайное венчание В. В. Розанова и В. Д. Бутягиной. Этот брак не только принес писателю семейное счастье — жизнь с «другом» открыла бесконечность творческих тем, и все запылало личным интересом.

«ДАЙТЕ МНЕ ТОЛЬКО ЛЮБЯЩУЮ СЕМЬЮ»

Душа его болела теперь об одном — об узаконивании этого брака. И тысяч других таких же, по всей России. «Мама всю жизнь страдала за свое незаконное венчание с отцом, — вспоминает дочь Розанова. — Свою „безымянность“ она приняла как крест и в письмах к нам, детям, подписывалась только „мать“ или просто „Варвара“».

Отношение Церкви к браку и деторождению, распространение проституции, права незаконнорожденных — вот что становилось узлом раздумий публициста.

Его статьи в «Новом времени» всколыхнули всю Россию. Целью публикаций было облегчить развод и добиться перенесения бракоразводных дел из церковного ведомства (консistorии) в гражданский суд.

Почему нельзя развестись, когда единой семьи уже нет? Ведь в результате запрещения разводов в браке накапливается грязь, льются слезы, а нередко и кровь. Розанов настаивал, что после распада настоящей, любящей семьи жена и муж уже не составляют «плоть едину». И евангельская формула: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает», — та самая реплика, которую бросила Сулова, не дав развода, — оказывается не применима. Реальное супружество заменяется чисто формальным браком. Больше всего в таких несчастных семьях страдают дети, которые становятся свидетелями ссор, разврата и пьянства. Целое море растленных детей — результат испорченной семьи, восклицал философ. Нужно вопрос о браке заменить вопросом о семье и не семью регулировать браком, а брак семьею.

Писатель не желал видеть разницы между освященным Церковью браком и не освященным: «Разврат в истории начался со слов: „Она (или он) любит незаконно“».

«Охрана» Церковью «святости брачного союза» в реальной жизни часто приводит к прямо противоположным результатам. От брака бегут, как от чумы и от проказы, а следствием этого являются убийство внебрачных детей, проституция, гражданские браки с невозможностью передачи гражданского имущества в наследство собственным детям.

Основной пафос Розанова обращен на защиту незаконнорожденных детей. Он приводит поразительные цифры: чуть ли не каждый третий рождающийся ребенок считается «незаконнорожденным»! В итоге он сумел сделать большую проблему разрешения разводов предметом горячей обще-

ственной дискуссии, о чем свидетельствуют два тома статей «Семейный вопрос в России». Сюда вошли и письма, огромное количество которых он получал в поддержку своих идей. Отрадно, что этот двухтомник поспособствовал изменению русского законодательства. В 1902 году Государственный Совет принял закон, согласно которому рожденные вне брака дети записывались в паспорт без обозначения их незаконнорожденности, и мать получала право дать ребенку свою фамилию.

Кроме того, семья у Розанова станет еще и объектом философско-педагогического исследования. Уже в «Легенде о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» в центре внимания критика оказываются Карамазовы — именно как семья с тайной родовых, кровных связей. Значение семьи не исчерпывалось для него общественными функциями. В семье ему видится не столько социальная, сколько мистическая сущность: это некий «животно-религиозный союз», «ступень поднятия к Богу». Все усилия он сосредоточит на теме религиозно-философского оправдания семьи.

В отличие от общепринятой точки зрения, мыслитель не считал семью социально обязанной к решению воспитательных задач. Каждая семья живет для себя, для счастья текущего момента. Даже у детей не должно быть развращающей мысли, что они — цель, ради которой семья все должна вынести. Наоборот, на детях лежит долг, они должны осознать, что они «трудны» семье, и за это чем-нибудь вознаградить ее. Семья — абсолютная ценность. И она должна обществу ровно столько, сколько сама для себя сочтет нужной. Поскольку никто «вне» семьи не может достоверно знать, что хорошо для ребенка, а что плохо, рассчитывать следует на мистические задатки самой семьи: на ее инстинкты, потребности, чувства. Только семья образует «настоящее духовное отечество наше».

Когда в 1893 году Розанов приедет в Петербург, литературно-эстетическая и журналистская среда воспримет его

в первую очередь как очень почвенного, «семейственного» писателя. «Беременный, чресленный писатель» — можно с полным правом вернуть Розанову его собственную характеристику Достоевского. Чадозачатие для философа «есть главный трансцендентно-мистический акт», и если дом не имеет детей — он мрачен и темен, «именно духовно темен». Даже любимого Пушкина он упрекнет в бездетности Татьяны: «А дети? ...идет *жена*, — и я спрашиваю: а где же ее дети? Вот что забыл Пушкин, рисуя свой „милый идеал“... С Татьяной — никого». У самого Розанова во втором браке родилось шестеро детей, и он с аппетитом занимался их воспитанием.

Итак, маленькое «я» и «свой дом» навсегда станут для писателя мерилom ценностей, которым он вершил суд над религиями, моралью и общественным мнением. «Уж так меня Бог устроил, что семья, „дом“ (антитеза квартиры) мною всегда ощущалась как *первый долг*, — скажет он в одном из писем.

Почти все наследие Розанова проникнуто, по сути, единой темой — темой любви и брака. Она прочитывается в его литературной критике («Интересна половая загадка Гоголя...»), разворачивается в статьях и трактатах по теории культуры, пронизывает его философско-лирическую прозу. В конце жизни, планируя пятидесяти томное собрание сочинений, которое, собственно, можно принять за гигантскую автобиографию, Розанов распределил все написанное им по разделам. «Брак и развод» занимают здесь одно из главных мест, наряду с «Философией», «Религией», «Литературой» и «Революцией».

«МАХРОВЫЙ КОНСЕРВАТОР» И СЛАВЯНОФИЛ

По протекции К. Н. Леонтьева Розанов получил место чиновника особых поручений VII класса в Палате Государственного контроля Петербурга, потом несколько лет служил в одном из департаментов. В эти годы он активно публиковал в журналах «Русский вестник» и «Русское обозрение» статьи в защиту монархической государственности и православия.

Возможность навсегда оставить государственную службу и жить литературным трудом появилась только в 1899 году. Он перешел на место постоянного сотрудника в газету А. С. Суворина «Новое время», где и работал вплоть до закрытия издания в 1917 году. Благодаря Суворину, писатель обрел, наконец, искомую творческую свободу — возможность писать практически на любую тему в газете, расходящейся по всей России. В «Новом времени» он проявляет себя подлинным мастером короткой и динамичной статьи. Это его стихия, его язык — он был «типичным журналистом». Именно благодаря журналистике Розанов стал известен современной ему читающей России. Круг тем и проблем, которых касается Розанов, кажется неохватным. Часто он подбрасывал современникам новые идеи, но сам не был озабочен их додумыванием и развитием.

Его отнюдь не тяготило то направление, которое занимало «Новое время»: государственно-консервативное, основывающееся на знаменитой формуле: «Православие. Самодержавие. Народность». Напротив. «Государственники», и Суворин, и Розанов, были едины в представлении о консервативной основе культуры: нельзя не сохранять исторический опыт, народные традиции. Розанов воспринимал консерватизм не как шаг в прошлое и омертвление, а как

творческую силу, содействующую развитию всего ценного для государства и противостоящую тому, что ему вредит. Пристальное внимание к истории русской культуры выросло из его интереса к движению славянофилов, которое он оценивал как школу национального сознания. Он называл своими наставниками И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, Константина и Ивана Аксаковых. Славянофилы обосновывали самобытность русской культуры, необходимость особого пути развития России, отличного от западноевропейского. Они говорили о цельности духовной жизни русского народа, о гармонии веры и разума и ставили задачей воспитание общества в духе истинного православия. Они надеялись на «воскресение Древней Руси», хранившей, по их убеждению, религиозный идеал соборности. Соборность — единство людей, основывающееся на любви к Богу. Розанову очень нравилась эта главная составляющая концепции славянофилов. Достоинства России он связывал прежде всего с душой народа.

Он считал славянофилов школой протеста русской психологии против психологии романо-германской. Философ по-своему суммировал славянофильское учение. Он выдвигал четыре основных начала, присущих исключительно русскому народу:

— начало гармонии, *согласия* частей, в отличие от их антагонизма, какой мы видим на Западе в борьбе сословий, положений, в противоположении церкви государству;

— начало *доверия* сословий и классов друг другу;

— начало *цельности* в отношении ко всякой действительности, к истине, которая постигается не обособленным рассудком через философию, но благодаря нравственным поискам;

— начало *соборности*, слиянность с ближним.

Эта система включала еще и идею «преданности» русского народа «верховой власти». Вот это и было главным: Розанов хотел «примирить» славянофильство с российской

государственностью. И в глазах современников он прослыл махровым консерватором. Но он был, что называется, «реакционным романтиком»: мечтал об «одухотворении» русского самодержавия.

Безусловно, В. В. Розанов видел вопиющие изъяны государственной системы, способной до бесконечности вредить самой себе. Он понимал всю ее глупость, косность и слабость. Тем не менее мыслитель полагал, что социальная система России в принципе является органическим для страны образованием. И в перспективе она жизнеспособна. В этом кроется корень его расхождения как со славянофилами, по мнению которых российская государственность со времен Петра утонула в «немецкой» бюрократии, так и с западниками, считавшими самодержавие общественным атавизмом.

В результате Розанов не только не отделял судьбу России от ее государственной власти, но, напротив, взаимосвязывал их. В 90-е годы он как публицист и литературный критик видел свое назначение в борьбе с разрушительными тенденциями, которые, ударяя по власти, наносят удары по самой России. По его мнению, с «фразистыми» либералами страна стала фальшива, притворна, обманна. Не терпел он и социальных «утопий», несущих, как ему виделось, гибель стране. Изменять жизнь государства возможно, только постепенно реформируя все его части.

«РОЗАНОВ СТОИТ ПО ТУ СТОРОНУ ПРАВДЫ И ЛЖИ»

Свое литературно-публицистическое творчество Розанов начинает как специалист по общественным вопросам, атаковавший демократическую мысль справа. Позднее, к кон-

цу 90-х годов, в его творчестве неуклонно растет литературность. Это объяснимо. В сфере политики ему просто скучно: ни соратники, ни противники по общественной борьбе Розанова не устраивают. Как не устраивает и сама необходимость ведения этой борьбы.

Ему приходилось писать о самом разном, ведь, помимо всего прочего, журналистика была для него источником средств к существованию. Розанов и любил писать о разном, «по поводу», творчески переплавляя разнородные факты. Был бесконечен в выборе журналистских тем, непредсказуем в манере письма и свободен в своих выводах и заключениях. Будто нарочно, он провоцировал общественность на скандал, вызывая бурное осуждение как справа, так и слева.

«Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах, — всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их издает», — простодушно признавался публицист. Он без зазрения совести в одно и то же время печатался и в консервативном «Новом времени», и в органах либеральной печати, да еще и в декадентском «Новом пути». О Розанове говорили, что он пишет обеими руками — правой и левой, намекая на его политическую всеядность.

Однажды Розанов заметил, что есть люди «об одном цвете»: черные, белые, — но есть «пегие», которые совсем не могут одному чему-нибудь служить и совершенно искренне служат двум господам. «Пегий писатель», для которого измена то одному, то другому составляет истину души, — эта характеристика как нельзя лучше применима к Розанову.

В условиях предреволюционной страны, разъединенной на политические лагеря, такая «пегость» была не ко двору. Неслучайно одна из статей марксистского критика П. Струве, обличавшая двурушничество Розанова, называлась «Большой писатель с органическим пороком». Струве поймал писателя на том, что тот одно время вроде бы поддерживал революцию (в брошюре «Когда начальство ушло») и

тут же в «Новом времени» публиковал статьи против нее. Критик называл это органической безнравственностью и был далеко не одинок в своей оценке.

Но под видимой беспринципностью журналиста «Нового времени» скрывалась некая эстетическая позиция, обусловленная многогранностью его подходов к предмету. Искренность автора не подлежит сомнению, даже когда он одновременно высказывает полярные политические взгляды. Не изложение своего политического кредо, а искусство самовыражения было для него самоценным. Кто-то проницательно заметил, что Розанов стоит по ту сторону правды и лжи.

Возражая своим оппонентам, Василий Васильевич отстаивал идею свободного творчества и независимости. Он в принципе не понимал упреков в двуличии и безнравственности, считая, что одно и то же предложение может быть истинно и не истинно, и ни об одном предмете нельзя иметь одного-единственного мнения. После подобных признаний большая часть либерально настроенной интеллигенции отвернулась от него. Последовавшие за тем полемика с А. Блоком, скандал в Религиозно-философском обществе, разрыв с Д. Мережковским еще раз убедительно показали удивительное упорство публициста в декларировании собственной творческой свободы и права на предмет иметь тысячу точек зрения.

«Я ВЕДУ ВЕЛИКИЙ СУД С ЛИТЕРАТУРОЮ...»

И в литературно-критических статьях, и в публицистике, Розанов проявлял темперамент борца. Он будто специально провоцировал конфликтные ситуации и взрывал общественное мнение изнутри. Напряженными были его взаимо-

отношения с русской словесностью. Он позволял себе похлопывать по плечу Льва Толстого и смеяться над загадочной тоской Владимира Соловьева, предъявлял непомерный нравственный счет Николаю Васильевичу Гоголю и требовал немедленного суда над всей русской литературой XIX столетия. Розанов демонстративно противопоставил свое «Я» всей предшествующей литературе и попытался доказать тщетность ее моральных императивов. Для этого он использовал все многообразие своих художественных средств: парадоксальность и множественность точек зрения, эстетический экстремизм.

В статьях Розанова, несомненно, есть элемент литературной игры. За серьезностью общего тона зачастую скрываются эпатаж и гротеск. Их автор убеждает читателя, что Грибоедов был счастливейшим человеком своей эпохи — но не понял, что главным положительным героем его комедии является Молчалин. Публицист с явной издевкой пишет, что влияние Белинского на русскую общественность похоже на ласку учителя по отношению к своим ученикам. А творчество Некрасова определяет как поэзию небывалого благодущия. При внешней почтительности к предмету, розановские статьи озадачивают читателя подчеркнутой субъективностью и скрытой тенденциозностью. Их автор не щадил общепринятых кумиров русской интеллигенции. Герцен, в частности, вызывал настолько сильное раздражение у Розанова-публициста, что юбилейная статья о нем была снята с набора в редакции.

Игровая реальность его статей как бы противостоит серьезности задач, поставленных в произведениях русской классики. Розанов бунтует против традиционных этических норм русской словесности. Он убежден — декларативные призывы к добру способствуют злу, а истина не может быть сведена к единому мнению. Именно этим его возмущает Лев Толстой. Розанов считает, что великий художник лжет в своем поиске нравственного идеала.

Между прочим, с именем Толстого связан один из самых громких розановских скандалов. В одной из статей он обрушивается на великого современника с критикой за неверие, обращаясь к нему на «ты». Нарочитый переход на «ты» вызвал бурю негодования в русском обществе. За подобную фамильярность предлагали крайнюю меру наказания для публициста — исключить его из литературы. Розанов же совершенно серьезно объяснил это проявлением высшей почтительности к герою статьи: к Богу тоже обращаются на «Ты».

Более всего в Толстом Розанова раздражало его морализаторство. В статье «Чего недостает Толстому?» публицист дал волю своему сарказму. Основной упрек, брошенный великому старцу, — это отсутствие остроумия. Ерничая и подхихикивая, Розанов будто начисто забывает про тон глубокого почтения, в котором написана была его юбилейная статья, опубликованная накануне.

Главным «противником» Розанова среди русских писателей был Гоголь. Обвинения в адрес великого сатирика носили на редкость устойчивый болезненно-агрессивный характер, что было не типично для вечно меняющегося Розанова. Его спор с Гоголем, явившийся в свое время событием и скандалом, перерос затем в немыслимое единоборство почти со всей русской литературой — от Кантемира до декадентов. Публицист был глубоко убежден, что все катаклизмы, сотрясавшие русское общество, проистекали из творчества Гоголя, ибо он дал каждому право хохотать над Россией. Смех Гоголя ужасает Розанова, он считает писателя Дьяволом, посланником ада, губителем России и задается вопросом: откуда эта беспредельная злоба у Гоголя? Этот же вопрос можно задать и самому критику. Он, кстати, немало заимствовал из художественного метода Гоголя.

Розанов буквально был болен Гоголем, но в его воображении им болела вся Россия, так что освобождение от Гоголя имело для Розанова не только личный, но и соци-

альный смысл. Какая идейная позиция определила подобный взгляд?

Социальный аспект литературы — одна из магистральных тем розановского творчества. В этом он — ученик шестидесятников. Именно последние научили Розанова понимать, какое серьезное воздействие способна оказывать литература на общество. Усвоив уроки, Василий Розанов остался чужд идеям «чистого искусства», выразителями которого были декаденты. В отличие от них, Розанов не только не умалял, но всячески подчеркивал социальную роль художника. Он видел историческую заслугу Добролюбова в том, что тот связал литературу с жизнью, заставил первую служить последней, в результате чего литература приобрела в нашей жизни такое колоссальное значение. Вот и получается, что утверждение социальной значимости литературы связывает Розанова с шестидесятниками при полном идеологическом разрыве.

В отношении Гоголя розановская мысль сводится к тому, что русские читатели не поняли «обмана»: они приняли «мертвые души» за реальное отображение социального характера целого поколения — поколения «ходячих мертвецов» — и возненавидели это поколение. За свою гениальную и преступную клевету Гоголь, по мнению Розанова, понес заслуженную кару (конец его жизни), но воздействие гоголевского творчества негативным образом отразилось на развитии русского общества. Из статьи в статью Розанов увеличивает меру гоголевской вины. Если в «Легенде о Великом Инквизиторе» — за оклеветанное поколение, то уже в следующей статье — за отвращение к действительности, порожденное им.

Но вместе с тем Розанов считал его одним из самых загадочных русских писателей, может быть, самым мистическим. Он рассматривал творчество Н. В. Гоголя как тайну, ключ к разгадке которой едва ли можно вообще подобрать. В его отрицании писателя слышится нечто чрезвычайно лич-

ное. И это в какой-то степени объясняет пристрастность розановских оценок. Возможно, Розанов пытался скрыть то подсознательное тяготение, которое он испытывал к этому писателю на глубинном эстетическом уровне. Ведь, например, в мастерстве озорства и мистификации «опальный» писатель был своеобразным предшественником Розанова.

Отрицание Гоголя связано у Розанова в немалой степени с его отношением к смеху, который он отождествлял с сатирой. Видя в смехе лишь обличение, зубоскальство, издевательство, проклятие, Розанов полагает, что смех — недостойная вещь, низшая категория человеческой души, а сатира вообще недостойна нашего существования и нашего ума. Помимо Гоголя, критик испытывает неприязнь к сатирическому направлению в целом: Фонвизину, Грибоедову, Щедрину. Смех, по Розанову, — составная часть нигилизма, но страшнее то, что смех не может ничего искоренить, а способен лишь придавить. Обладая подобным представлением о смехе, Розанов не мог не видеть Гоголя как фигуру «преисподней».

Однако были все же имена в русской классике, к которым строгий судья относился не только с уважением, но с преклонением. Это прежде всего Пушкин и Лермонтов. Правда, восприятие их творчества было неразрывно связано с его внутренним видением. Говоря о значении Пушкина для России, критик высказывает крамольную мысль: он не считает поэта истоком русской словесности, у него нет продолжателей, и он весь обращен в прошлое, а не в будущее. Универсальное изящество его поэзии — это гениальная трансформация предыдущего в литературе. По словам Розанова, Пушкин был «эхо», а путь русской литературы определил Лермонтов. Пушкин для критика — единичное явление в русской литературе, Лермонтов — чуть ли не типологическое.

Тональность розановских статей о Пушкине и Лермонтове кардинально отличается от обличительных, а порой ругательных интонаций заметок о «нелюбимых» писателях.

Всю жизнь велась эта беспримерная в русской культуре борьба против русских классиков. Розанов проиграл свое дело. Но весь парадокс его суда и борьбы заключается в том, что сам Розанов принадлежал к русской литературе и как писатель корнями был тесно связан с ней.

Не надо еще забывать, что статьи его в основном писались для ежедневных газет и журналов и потому отмечены злободневностью и имели непосредственное отношение к текущей литературной действительности. Как правило, статьи посвящались юбилеям, выходу очередного издания и т. д. Поводом для литературной дискуссии могла послужить и статья оппонентов Розанова на спорную тему, и тогда она была написана на грани литературного хулиганства.

Все было позволительно в этом странном жанре, который был создан впервые в русской журналистике: философско-литературное эссе с элементами газетного фельетона, иногда репортажа. Розанов, пожалуй, оправдывал свое меткое прозвище: философ в фельетонистах, один из величайших капризов русского бытия.

«Я СТАЛ ЛЮБИТЬ ДЕКАДЕНТОВ»

«Капризный» Розанов был непредсказуем. Еще недавно декаденты вызывали у него недоумение, он порицал в их поэзии «вычурность в форме при исчезнувшем содержании», отмечал, что в их эротизме умер душевный человек и остался только физиологический. И вдруг в 1897 году он сходит с Мережковским и становится не только вхож в декадентский салон, но и превращается в постоянного и желанного гостя этих литераторов. Что было причиной столь неожиданного сближения?

К самому концу века позиции Розанова коренным образом меняются. С некоторых пор он тяготеет «идейным консерватизмом». Собственно, если он и был яростным консерватором, то, как теперь ему кажется, не столько из любви к консерватизму, сколько из ненависти к пустозвонному либерализму. Кроме того, разочарование в славянофильстве, семейные обстоятельства, нарастающий интерес к теме пола — все это вступает в явное противоречие с его ортодоксальным христианством. В результате консервативные настроения стремительно ослабевают.

И в масштабах эпохи объективной потребностью становится новое мировоззрение: отчетливо осознается кризис старых форм культуры и рационалистического знания. «Потянуло новым в воздухе», — ощущает философ: после позитивизма и реализма наступила по закону прямого перелома эпоха декадентства.

Вообще, декадентство (от фр. *decadence* — «упадок, разложение») — кризисный тип сознания, порожденный неприятием окружающего мира и пессимизмом в сочетании с рафинированной утонченностью. Декадентские настроения были в большой степени присущи старшим поэтам-символистам: Мережковскому, Гиппиус, Брюсову, Федору Сологубу. Декаденты осознавали себя носителями высокой, но гибнущей культуры.

Жизнелюбивый и земной, Розанов, естественно, был далек от таких настроений. Но несмотря на всю «ужасность», декадентство знаменовало для него появление «струйки» нового в истории. Розанову в декадентстве слышится что-то религиозное, хотя и «уродливо-религиозное», внецерковное.

Основой для сближения с «декадентами» поначалу послужило активное неприятие позитивизма с его механистическим пониманием природы и истории и унылой приземленностью идеалов. Для Розанова позитивизм и его политическая форма — либерализм — были воплощением

пошлости. Символисты же отвергали «бедность мысли» рационализма и «точные» знания, уверенные, что «науке до души дальше, чем до звезд».

Кроме того, в воздухе носились обновленческие идеи по отношению к Церкви, к православию. Не для одного Розанова была очевидна необходимость преодоления религиозного формализма, не один он болел темами духовного сближения Церкви с повседневностью и религиозного оправдания культуры. Именно кружок Мережковского, к которому в конце 90-х годов примкнул Розанов, стоял у истоков этого духовного движения, получившего название «нового религиозного сознания», или «неохристианства». Направление духовно-мистических исканий символистов во многом совпадает с религиозными поисками философа.

Разочарование в отрицающем пол и семью христианстве все больше уводило его к религиям Востока. Разгадка тайн Востока: Египта, Вавилона, Ассирии, Финикии, наконец, Израиля — неотделима у Розанова от критики «бесполой» европейской цивилизации. Он пришел к выводу о жизнеутверждающем смысле древних религий: в них содержится идея рода, рождения, роста. Особый интерес вызывал у него Египет — «сладкая колыбель человечества», чьи таинства построены на культе пола. Его безумно восхищали изображения Осириса с восставшей плотью. Он со страстью собирал египетские древности и, часами просиживая в библиотеке, переводил через кальку из атласа египетские изображения «фаллического характера». Розанова увлекал культ Аписа, бога-быка с вечно брызжущим семенем — воплощения неиссякаемой плодоносящей энергии, которая движет вселенной и составляет ее тело. «Мы все — дети Солнца», — ощущал писатель.

Интересом к древним религиям продиктовано и его коллекционирование монет, преимущественно римских и греческих. Нумизматика стала его главной собирательской страстью до самой революции, а его собрание монет было

одним из лучших в России. Монеты осязаемо давали возможность увидеть лицо далекого прошлого.

Смелые творческие искания, декадентское увлечение иррациональным, тяготение к освобождению от моральных запретов — вот доминирующие черты Розанова в тот период. Ему самому было удивительно, в какой индивидуализм он ринулся после трех—четырёх лет ужасающего коллективизма. Даже в стиль его пришел вдохновенный полуанархический пафос художественности на смену жесткому публицистическому консерватизму.

Эстетические начала все больше брали верх в его воззрениях. Он сближается с писателями и художниками, группировавшимися вокруг журнала «Мир искусства». С 1898 года Розанов приглашен участвовать в этом новом журнале, возглавляемом художником Александром Бенуа и С. П. Дягилевым. Это был чисто эстетический журнал «декадентов»-художников, который должен был утверждать современные художественные идеи, отличные от приземленного передвижничества и холодного академизма. Эстетический символизм художественного кружка имел точки соприкосновения с идеалистическими философскими исканиями Мережковского, Розанова, Перцова и других литераторов. Кроме того, сексуальная направленность религиозной философии Розанова была интересна многим представителям кружка, нередко прибегавшим, как и декаденты-литераторы, к эротическим мотивам. Новые дерзкие идеи философа пола, нарастающая раскрепощенность мысли, прихотливость его неистощимой фантазии совпали тон в тон с мирискусниками. Короткие, яркие, оригинальные статьи Розанова в «Мире искусства» раскрыли его талант как эссеиста. Именно там его стиль стал раскованным, а словесный рисунок неряшливо изящным. Роднило еще и то, что и Розанов, и Мережковский тяготели к рассмотрению литературы с точки зрения мистически-религиозной, не будучи «в чистом виде» ни философами, ни публицистами.

Дом Розанова на Шпалерной с 1899 года становится важным центром петербургской культуры. По воскресеньям у него собиралось интереснейшее общество, единственное в своем роде. Приходили весьма разнородные гости: профессора Духовной академии, синодальные чиновники, священники, монахи и настоящие «люди из подполья» — анархисты-декаденты. Между этими двумя сторонами завязывались то домашние споры об эстетике и религии, то апокалиптические беседы, как будто выхваченные прямо из «Бесов» или «Братьев Карамазовых». Дискутировали самые крайние реакционеры и самые крайние революционеры — философские и религиозные. Соединение несоединимых — это и было главной особенностью розановского салона, хотя светское понятие салона применимо здесь лишь условно. Ходили решительно все, без всякого выбора. На «воскресеньях» бывало «нелепо, нестройно, разгамисто, весело; стол кричал десятую голосами за раз». В общем, дом был похож на своего хозяина. Бурные споры, живые беседы на зажигательные темы никого не оставляли равнодушным. На встречах насчитывалось до тридцати человек. Центром общения был сам хозяин квартиры. Он был горяч, непредсказуем, буквально фонтанировал оригинальными идеями.

«ЦИНИЧЕСКИЙ МИСТИК ИЗ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

На рубеже веков Розанов оказался главным связующим звеном между миром церковной традиции и новейших духовных и эстетических исканий.

Нужда в таком звене действительно назрела. Долгое время духовное и светское знания существовали раздель-

но, и религиозная жизнь тоже раздваивалась. Светский и церковный — это были воистину два разных мира. Интеллигенция по мере нарастания интереса к христианству искала выход своего религиозного чувства в Церкви. Но при этом справедливо сетовала на чрезмерное внимание Церкви к обрядовой стороне, которое заслоняло живую жизнь. Священники, радеющие за оздоровление Церкви, тоже были заинтересованы в проведении встреч с обществом. Им хотелось обсуждать взаимоотношения Церкви и мира.

Идея религиозно-философских собраний была выдвинута впервые в кружке Мережковских. Розанов горячо ее поддерживал. Ему легче других было содействовать организации: вокруг него постоянно роились батюшки.

Философ почти сразу же стал идейным лидером собраний. Он определял главные темы и задавал диалогу именно религиозно-философский, а не публицистический тон. Обсуждали сущность Церкви и христианства в их отношении к реальной жизни. Говорили о таинствах брака, о духовной свободе, о церковном догмате. Розанов постоянно поддерживал остроту и духовную напряженность дискуссий. Широкий резонанс имел его доклад «Об адогматизме христианства», в котором он утверждал, что с построением догмата христианство потеряло наивность и прелесть, перестало трогать и привлекать. Именно замену умиления мнимой убедительностью и считал Розанов основной причиной всех бед христианства. Ведь все основные истины мира, а религиозные особенно, — неисповедимы, недоказуемы. Их чрезмерная рационализация губительна для творческого духа христианства.

Необходимость большей религиозной свободы органично вытекала из розановских рассуждений. Он прослыл грозой черного духовенства, каждый раз с трепетом ожидавшего, что скажет в выступлении этот талантливый еретик. Но Розанов был не обычный еретик. Отдаляло его от христианства не что иное, как глубокая и притом религиозная

любовь к миру и людям. А самой своей манерой богословствования он больше напоминал впавшего в ересь священника, чем интеллигента-богослова: он был отчаянно погружен в церковные проблемы и критиковал христианство с надрывной болью, как родное.

Образ Розанова вывел во «2-й Симфонии» поэт Андрей Белый, отражая его полускандальную популярность в то время: «На всю Россию кричал тогда цинический мистик из города Санкт-Петербурга, а товарищи одаряли оракула бенгальскими огнями».

Начатые на Собраниях дискуссии получили продолжение в журнале «Новый путь». Розанову удалось там занять особое и весьма значительное место. Как одному из главных участников журнала, в 1903 году ему была отдана рубрика с красноречивым названием «В своем углу». Здесь он мог, обособившись от мнения редакции, свободно выражать свои идеи, поднимать любую острую для него тему, да и просто «думать вслух». Именно здесь он печатает работу «Юдаизм», ставшую вершиной его постижения еврейского духа.

ОНИ «РАСКАЧИВАЛИ КОРАБЛЬ РУССКОЙ МЫСЛИ»

Русские философы и поэты-символисты, представители «нового религиозного сознания», на рубеже веков болезненно ощущали кризис культуры, нарастающий хаос. Предчувствуя катастрофу, каждый из них стремится нащупать духовную опору в каком-то новом Боге, восставая против догматичности ортодоксального православия. Они пытаются переосмыслить христианского Бога, совместить его с языческими божествами, с культом земной, сладостной жизни. «Мы зачарованы не только Голгофой, но и Олимпом, зовет

и привлекает нас не только Бог страдающий, но и бог Пан, и древняя богиня Афродита, богиня пластической красоты и земной любви», — говорили сами философы. В русле этих исканий просыпается мучительный интерес к проблемам пола, стремление к «освящению плоти». В этом смысле религиозную философию Серебряного века можно было назвать эротической, а Эрос, мерцающий в мечтах Владимира Соловьева и в фантазиях символистов, — божественным.

В том-то и дело, что Русский Эрос, объединяющий этику и эстетику, никогда не был прославлением чувственности. Понятие пола не отождествлялось с «сексом». Наши религиозные философы понимали любовь в двух смыслах. Одни, как Бердяев, вслед за Владимиром Соловьевым переосмыслили идеи Платона и занимались в основном «духовной стороной» половой любви. Другие, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Лосский, — и вовсе, по мнению Розанова, впадали «в сухую, высокомерную церковность». Они говорили не об эросе, а о любви-«каритас», возрождая средневековое представление о любви-сострадании, милости.

Василий Розанов на этом фоне — та точка, в которой неразрывно слились религиозное сознание и философия половой — именно сексуальной — любви. Его гениальность (или святотатство) как раз и состояла в «совмещении несовместимого» — пола и Бога: «Связь пола с Богом — бо́льшая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом». Самый оригинальный, самый «еретический богоискатель», преодолевая окружающее ханжество, он вызывающе соединил Бога с полом — и представил свой ответ на «проклятые вопросы» эпохи.

Розанов и Соловьев раскачивали «корабль русской мысли» своими противонаправленными влияниями.

Владимир Соловьев с его «Смыслом любви» (1892) имел огромное влияние на последующее поколение мыслителей и поэтов. Младшие символисты не просто зачитывались им, а стремились реализовать «соловьевство как жизненный путь».

Соловьевский Эрос, будучи «духовно-телесным воплощением вечной Женственности Божией», обеспечивал духовность личности и тем самым — индивидуальное бессмертие.

Розанов же, названный Бердяевым «гениальной русской бабой», «мистической бабой», обнаруживал в самых недрах русского характера «вечно-бабье» — не вечно-женственное. Он выражал «русскую религию родовой плоти, религию размножения и уюта». Любовь для него — безличное, чувственное начало, отвечающее за бессмертие рода и связанное с семьей и деторождением.

В соответствии со своими воззрениями два крупнейших философа русского Эроса по-разному относятся к половой любви. Для Владимира Соловьева неограниченное удовлетворение влечения — это путь животных, недостойный человека. Человеческий путь — это путь брака, где животные инстинкты умеряются в пределах, необходимых для сохранения рода. Но лишь безбрачие, половой аскетизм, ограничивающий чувственные влечения, есть высший путь. Аскетизм сохраняет в чистоте и неприкосновенности силу божественного Эроса в человеке, ибо смысл любви, по Соловьеву, — в богочеловеческом воссоединении.

Розанов же утверждает, что совокупление — наиболее духовный акт, «прекрасный и духовный, этический и метафизический, *во всех своих составных частях*». Поэтому как раз животные, находящиеся в половом возбуждении, невиннее и безгрешнее людей. А «Вечная Женственность», если и появляется у Розанова, то в значении прямо противоположном соловьевскому: она определена как наисильнейшее выражение пола, «удесятеренная самочность». Розанов словно играет сакральными символистскими терминами «всемирная жена», «всемирная невеста», вкладывая в них чисто физиологический смысл. Крик Содомы слышится ему в соловьевских стихах и комментариях к ним. В платонизме философа он видел что-то неприятно-старческое, сухо-аскетическое. Да и сам Соловьев представлялся

Розанову блестящим и холодным, стальным, словно носившим на себе отблеск лунного света. Розанова возмущало, что философ, так много писавший о христианстве, ни одной строчки не посвятил терниям и муке семьи.

«Какая в самом деле противоположность этих двух лиц, Вл. Соловьева — с его иконописным лицом Иоанна Предтечи, и Розанова — с обыкновенным лицом „рыжеватого господина в очках“, мелкого контрольного чиновника или провинциального гимназического учителя из поповичей, — удивлялся Мережковский. — Но, по мере того как вглядываешься в это лицо, открывается удивительная смесь бесстрашной и почти бесстыдной, цинической пытливости, как бы бездонного углубления тысячелетней мудрости — с детским простодушием и невинной хитростью». Оба больших философа устремлялись к тайне мира, но находили ее в разных сферах — небесной и земной.

А впрочем, была и у В. В. Розанова своя «*Caelestis femina*» — небесная женщина, пропитанная звездами, женщина-мир, с теплым, нежно пахучим животом, грудями и бедрами, вечно совокупающаяся или желающая совокупляться. Розанов остро ощущал «телесность» мира, его «шевеления» и запахи.

Возможно, это шло из глубокого детства. Мальчиком он ухаживал за матерью, не встававшей с постели, страдающей женской болезнью. Не будучи чем-то запретным, тело женщины в своей откровенной физиологии рано лишилось романтического ореола, но не стало в его глазах порочным или «срамным».

Наоборот, вся Вселенная ему с тех пор представлялась огромным эротическим организмом, непрерывно плодотворящим и рожающим: «Я постоянно хотел видеть весь мир беременным». Как о мистическом опыте вспоминает он об ощущении Огромной женщины. О тайнах лона ее, о персях, в которых закутывается «маленький Розанов, вечно сосущий из них молоко»...

«ПОЧЕМУ Я ТАК ЛЮБЛЮ ФАЛЛОС?..»

Мало кто сегодня станет столь же пафосно, восторженно и чувственно говорить о сексе, как это делал на заре прошлого века В. В. Розанов.

Сегодня этим «занимаются», но не воспевают. При избытке эротики и эротического в современной культуре отсутствует Эрос. Припозднившаяся в России сексуальная революция лишила ореола запретную тему. Ушла «онтологическая серьезность, мистериальность» в понимании соития. Секс привычен и техничен, как физиологическое отправление.

Но это циничное отношение к половой любви и есть вывернутый наизнанку вековечный стыд, ощущение которого четко выразил Н. А. Бердяев в «Самопознании»: «Пол свидетельствует о падшести человека. В поле человек чувствует что-то стыдное и унижающее человеческое достоинство». Против этого стыда и восставал всю жизнь Василий Розанов.

Он смело вторгался в запретные области и без конца готов был «интимничать», обсуждать то, что испокон веков табуировалось. Он интересовался «домашними делами» и «бельем» собеседников и всерьез утверждал, что одного взгляда на супругов ему достаточно, чтобы знать степень их интимной близости.

Интерес к половым вопросам, захвативший писателя на сорок третьем году жизни, многим казался нездоровым. В любовном любопытстве к их интимной жизни пуритански чопорные современники углядывали патологию. И со стороны домашних это тяготение к половой проблеме, по-видимому, не встречало сочувствия. Друг и почитатель философа Эрих Голлербах вспоминает, что тот заговорил однажды дома о своей «половой» статье. «Гадость ты написал, больше ничего», — сказала одна из его дочерей с гримасой.

Василий Васильевич затрясся в беззвучном смехе: «Вот так лет пять она будет твердить — „гадость, гадость“, а потом поймет, и еще как поймет...»

Сексуальность рассматривалась им как нравственная ценность. Уже тогда, в 1900-е годы, он говорит о восстановлении «культуры пола», о целой «половой цивилизации». При обсуждении христианского брака в Петербургском религиозно-философском Обществе он ставит в тупик клерикалов. Утверждает, что похоть морально недопустима, но необходима физиологически. Для Розанова «страстность» — нормальное явление, признак творческой рождающей силы, данной природой. И здоровье потомства прямо пропорционально степени «страстности» родовой жизни. На тех же Собраниях он однажды шокировал аудиторию своим вариантом райской утопии: новобрачные в первое время после венца, до явно обозначившейся беременности, остаются жить в храме, и к ним постепенно присоединяются и другие пары. Острословы поговаривали, что Василий Васильевич хочет превратить Церкви в родильные дома, в дома терпимости.

Его религиозно-сексуальные фантазии тогда оценивались как мистический блуд. Но по смелости и глобальности своей они могут быть сопоставлены с «общим делом» Николая Федорова — физическим воскрешением мертвых совместными усилиями всех живых.

Немыслимый в то время «сексуальный радикализм», не свойственный ни целомудренной русской классике, ни тем паче философии, позволили бы отнести Розанова к зачинателям сексуальной революции, родись он на несколько десятилетий позже.

Однако писатель не просто реабилитирует физическую любовь, семя и плоть. Он вместе с тем одухотворяет эту сферу, оцеломудривает пол. «Беременный живот для вас дороже, чем лицо Рафаэля, чем голова Леонардо», — укоряли его современники. Он восстает против низменного,

сального и хулиганского отношения к полу, каким оно было в некоторых декадентских романах, например, в арцыбашевском «Санине». Пол, по Розанову, лишен греха, чист и свят. Философ сетовал: «Все люди кричат: „У Розанова порнография“, — тогда как, напротив, я первый начинаю извлекать всех людей, все человечество, из порнографии». По его мнению, потому и наступает всеобщий разврат, что «акт» не ощущается проекцией божественного движения. Фаллосы безлики, взаимозаменяемы, и совокупление осуществляется точно по нужде — сходил и заснул. А оно должно быть светлым праздником, последним моментом ласк, «нежности, деликатности, воркования, поцелуев, объятий».

Для вкусов эпохи это был более чем вызов. Достаточно вспомнить Льва Толстого, всего десятилетием раньше написавшего о «гадости и мерзости сношений», — «Крейцерову сонату»...

Розанов рисует картину идеального соития как священного дионисийского экстаза: «Небеса ржут, Вселенная угощает молоком, любовники стонут, задыхаются, ничего не помнят, не помнят родителей, не нужно им будущих родов: и наступило великое СЕЙЧАС, только СЕЙЧАС, одно СЕЙЧАС, которое поглотило весь мир и проглотило их самих...» Воистину космогонический акт, равный сотворению мира!

Благоговение перед ложем любви ощущал он всю жизнь. Приходившие на «воскресенья» в дом Розанова на Шпалерной вспоминают: «Василий Васильевич водил в свою спальню — поклониться ложу, которое возвышалось, как трон».

«Гениталии в нас важнее мозга», — не уставал повторять писатель, прозванный Ремизовым «фаллофором». В детородном органе для него сосредоточено все самое существенное и сущностное. Фалл — вот истинное Древо жизни, начало начал. С присущей ему откровенностью однажды поведал, что, когда пишет, держится левой рукой за источник всякого вдохновения, чтобы лучше писалось: «По-

чему я так люблю фаллос? Уважаю его? И мой, и всемирный. Вся моя доброта, нежность и чистота душевная течет от него».

Пол для Розанова не функция, не орган, а божественное волнение в душе человека. Здесь розановское восприятие пола-Бога так и хочется подвести к соловьевству, к платоновской метафизике с ее космическими стихиями, «оживляющими» и облагораживающими человеческие тела. Но теория платонической любви — Афродиты Небесной — призывала к очищению от сексуальности («верх» должен главенствовать над «низом»). В этом смысле, конечно, «пол» Розанова — это вовсе не платоновский Эрос.

Но это и не фрейдовское либидо, где, наоборот, «низ» однозначно руководит «верхом»: идеалы выявляют свое происхождение от инстинктов и биологически зависят от них. Вообще, Фрейд и Розанов — довольно спорная «пара». Родившись в один год, они не читали друг друга и не догадывались, как часто потомки будут ставить вместе их имена.

«ХРИСТОС РАССЕКАЛ РОЗАНОВА ПОПОЛАМ...»

Несмотря на прочную репутацию Розанова-язычника, христианство можно назвать сюжетом его жизни — извилистым, мучительным, противоречивым. «В сущности, вся моя жизнь прошла на тему о христианстве», — подытожил он как-то в письме. И если публичное обсуждение семейного вопроса было вызвано внешними коллизиями судьбы Розанова, то в христорборчестве философа отразилась его борьба с самим собой.

Сюжет этот разворачивался в несколько этапов. Глубоко религиозный, поставивший в центр всей своей жизни

Бога, Розанов поначалу видел в христианстве радость рождения, удивительную легкость духа. Христианство поддерживает гармонию мироздания. Оно спасает человека от осознания своей ничтожности и одиночества.

В работе 1890 года «Место христианства в истории» философ рассматривает различие христианской и языческой государственности, проблему соотношения семитического и арийского начал в истории. Человечеству изначально присущ дуализм духа, полагает автор. Арии, по его словам, — «дети природы»: жизнерадостны, любят природу и поклоняются красоте. Но они лишены способности к рефлексии, их ум направлен только на внешнее, на объективный мир. Склонность ариев к действию, направленному вовне, породила институт государства и права. Семиты же, в противоположность ариям, «субъективны»: в их среде существуют субъективные искусства — музыка и лирика. За отказ от земных соблазнов они были избраны Богом и получили в ветхозаветные времена Откровение. Но затем, перестав считаться с Богом, они были отвергнуты. Только в греческом гении начинается синтез арийских и семитических сторон духа. Венцом же этого синтеза земного и небесного выступает христианство. Оно является завершением истории. Розанов считал, что весь исторический процесс подводит нас к идее христианской цивилизации. Именно в ней присходит полное слияние элементов семитского духа и духа арийского. Историческое и религиозное значение еврейского народа кончилось, и на смену богоизбранности Израиля идет абсолютное духовное превосходство Церкви Христовой. Здесь философ стоял еще на вполне ортодоксальной точке зрения, не расходясь пока решительно с православной доктриной.

Но вскоре сомнения начнут нарастать, как снежный ком. Он отвергнет историософские конструкции, построенные на отвлеченном рационализме, а на христианство посмотрит совсем под другим углом.

Прежде всего Розанов стал ощущать фальшь в самом духе христианства, в его определяющих идеях. Мережковский отделял христианство историческое, запятнанное светлый принцип, от самого принципа. Он звал к осуществлению подлинного христианства. А вот Розанов засомневался в перспективности этого светлого принципа. Заветы, оставленные христианством, буквально «раскалываются» от соприкосновения с человеческой природой. Они не учитывают эту природу, игнорируют ее, поэтому и оказываются несостоятельными. Христианство — пришел к мысли Розанов — так и не смогло стать толчком в дальнейшем развитии человечества.

Уже в статьях сборника «Религия и культура» (1899) он начинает разделять «религию пола» и «религию Слова»; жизнеутверждающую — Ветхого Завета и жизнеотрицающую — Завета Нового. Первую для него воплощают иудаизм, Древний Египет и Вавилон. Потому прочна и свята еврейская семья, полагает философ, что она замешана не на словах, а на «семени», на чувстве пола. Христианство же уничтожило связь человека с Богом, поставив на место семьи — аскезу, на место религии — морализаторство, на место реальности — слова.

Некая цельная слитность БОГ-ПОЛ, безусловная в розановском мире, ставится под угрозу. Христос и христианство, как острый нож, расчленяют эти понятия. Христос рассекает его мир пополам.

Мережковским была сформулирована популярная для эпохи мысль о том, что христианство оторвало дух от плоти: дух стал святым, а плоть — греховной. Но именно Розанов первым прочувствовал во всей глубине эту мысль и подвел к ней Мережковского. Обновление религии Розанов видит через снятие порочной дилеммы дух—плоть.

«Христианство дало Эроту выпить яду; он, положим, не умер от этого, но выродился в порок», — Розанов без колебаний подписался бы под этими словами немецкого фи-

лософа, настоящего «бога» молодежи 1900-х. Фридрих Ницше с его апологетикой свободы творческой личности, утверждающей себя «по ту сторону добра и зла», чем-то сходен с Розановым. Самого философа окружающие не раз называли русским Ницше за проповедь антихристианства.

Действительно, их многое объединяет: культ плоти, неприятие моральных догм, острое чувство «гибели богов», попытки избавиться от угнетающей скорби христианства. Но если нигилистическое «бог умер» — стопроцентный атеизм, то Розанов призывал возродить в себе религиозно-языческое сознание, почитание Исиды и Осириса, Солнца и великой богини-Матери. Это чутко подметил Голлербах: «Антихристианство Розанова вовсе не есть атеизм, напротив, это живая религия, пламенный и вдохновенный теизм». Розанов восстает не против христианской веры вообще, а только против скорби, страха и самоотрицания, проистекающих из христианского аскетизма. Он критикует христианство за то, что оно догматизируется, превращается в каменное и саморазрушается. Ницше богоборчески противопоставлял своего «сверхчеловека» любой форме религии. Розанов же настойчиво пытается «оплодотворить» христианство плотью, радостью брака и рождения. По отношению к браку и семье позиции Розанова и Ницше тоже были противоположны.

Самого Розанова очень раздражало это сравнение, ему претил антигуманистический демонизм Ницше. «С Ницше никакого сходства!» — восклицал он.

В многочисленных статьях 1900-х годов «темные лучи» православия противопоставляются философом солнечному фону язычества. Розанов последовательно разоблачает «религию Голгофы»: «Из подражания Христу образовалось неутомимое искание страданий», Христос говорит только с больными и бессильными.

Кульминацией розановского богоборчества явилось исследование «В темных религиозных лучах» (1909), включающее две части с солидным «концептуальным» подзаголов-

ком «Метафизика христианства». Это был уже открытый бунт против христианства

Заголовок первой части — «Темный Лик» — можно прочитать символически. Но и в прямом, зрительном смысле — это скорбный лик Христа, подчеркнутый мрачным колоритом византийских и древнерусских икон. Христианство — это, по Розанову, апология смерти, сладости смерти. В присутствии Христа все темнеет, меркнет, «плоды мира» становятся горькими. Темный лик Христа-Сына заслоняет светлый лик Отца. Путь через Голгофу, «духовное» спасение представляется философу едва ли не равносильным отрицанию бытия вообще. Не мог простить страстный Розанов мировой несовместимости «влюбления и Евангелия»: любовь мужа и жены обойдена там преднамеренным гробовым молчанием. Основа человеческой жизни — половая любовь, зачатие — объявлены греховными! Из текста Евангелия естественно вытекает только монастырь, считает автор.

Второй том «метафизики христианства», «Люди лунного света», служит своеобразной иллюстрацией к идеям, высказанным в «Темном Лике»: здесь собраны примеры сексуальной патологии «врожденных христиан». Даны портреты христианских аскетов и скопцов, ненавидящих пол, уклоняющихся от деторождения. Мир света — это мир Нового Завета, религия «бессеменно зачатого» и «бесполого» Сына, которая умаляет брак по сравнению с девством, с монашеством.

Книгу «В темных религиозных лучах» цензура запретила, и весь запланированный тираж — около двух с половиной тысяч — был уничтожен. В 1911 году упрямый писатель выпускает вторую часть отдельным изданием. Заметим в скобках, что Розанову было не привыкать к скандалам. И его «антицерковные», и его «половые» статьи постоянно объявлялись «ужасно порнографическими», арестовывались, автор привлекался к суду. Но обличительную страсть философа-еретика не сломило даже намерение духовенства отлучить его от Церкви.

И все же наступит момент, когда Розанову придется отказать от своего антихристианства. В «Уединенном» отчетливо выразился новый поворот Розанова к Церкви. В христианстве видится теперь ему «одно в мире теплое», последнее тепло на Земле. Интимное чувство Бога, общение с Богом — вот суть этой религии. Внезапная тяжелая неизлечимая болезнь любимого «друга» — жены, ощущение близости смерти, угроза всему его уютному и теплomu дому заставляют по-новому взглянуть на «религию страдания». Розанов нуждается в утешении, которое может дать в тот момент только Христос. Чувство вины за свои прежние писания не отпускает его: «Я говорил о браке, о браке, о браке... а ко мне все шла смерть, смерть, смерть...» Именно семейное, «маленькое» призывает теперь философа переосмыслить христианство как религию, утверждающую жизнь «не позади, а впереди смерти».

Неразрешимые противоречия Розанова давно стали «общим местом». Принято считать, что он так и не сделал решающего выбора между христианством и язычеством. Но его «религиозное недоумение» по-человечески понятно и естественно. Можно было бы соотнести эти метания от полюса к полюсу с пирамидой потребностей Абрахама Маслоу. Действительно, «когда болит душа — тогда не до язычества. Скажите, кому с „болеющей душой“ было хотя бы какое-нибудь дело до язычества?»

...Дочь Татьяна спросила его в конце жизни, отказался бы он от двух своих самых «антихристианских» книг, — и получила отрицательный ответ. Он считал, что в «Темном Лике» и в «Людах лунного света» «что-то есть верное». И хотя умирал Василий Василевич Розанов самым благочестивым христианином (трижды причастившись и заявив, что «нисколько не против Христа»), поговаривали, будто бы он перед самой смертью поклонился изображениям Астарты и Осириса, висевшими у него в кабинете.

«ЛЮДИ ЛУННОГО СВЕТА»

Эту книгу можно прочесть как пособие по сексопатологии с «приложением для медиков и юристов». Можно увидеть в ней остросюжетный документальный роман, в центре которого — неразрешимый конфликт между автором, страстным защитником гетеросексуальности, и гомосексуалистами. Можно подойти серьезнее — как к научному труду с классически философским заглавием «Метафизика христианства», выявляя центральные для розановского творчества идеи. В любом случае — это захватывающее и полезное чтение. Кто же такие «люди лунного света»? Всех, кто не чувствует влечения к противоположному полу, в ком есть отрицание сексуальности — «идейное» или врожденное, Розанов определяет как «третий пол». Это содомиты (гомосексуалисты), урнинги (муже-девы и женоподобные мужчины) и трансвеститы всех мастей.

Без пола мир был бы матовый, лунный. «Супруги любят солнышко», — не устает повторять писатель. Солнце — совокупление, Луна — вечное «обещание», греза, воплощение холодной, «спиритуалистической» любви.

Во взаимоотношениях полов Розанова интересовало любое отклонение от нормальной сексуальности. В работе «Брак и христианство» (1898) он описывал противоестественные влечения, отменяющие закон деторождения и заменяющие его собой. «Пол идет против естества», и человек сочленяется со стихиями «более ранних дней творения», возвращаясь в «мир под собою», в природу до себя, что запечатлено в мифе, скульптуре и живописи (Минотавр, рожденный Пасифаей от быка, Леда, соединившаяся с лебедем). Такие половые аномалии, по Розанову, не дикость, ибо в них проявляется родство человека с природой, просвечивает «прорыв к лилейному небу с иными, не нашими созвездиями». Им не отказано в праве на существование.

Иное дело — «люди лунного света». Аномалию «бездомности» Розанов ощущал как гибельный путь. Он вполне допускает, что сама по себе «текучесть пола» не плоха и не хороша, «здесь все подлежит наблюдению и ничто исправлению». Более того, она заложена в каждом изначально, ибо первый человек был в скрытой полноте своей обоюдным, как божество, о чем свидетельствуют статуи «бородатых Венер»: «В Адаме и Еве есть черты Адамо-Евы, первого андрогинного Адама». Писатель трактует андрогин по-своему, по-розановски: это не безразличие по отношению к полам, а, наоборот, обладание обоими полами, половая избыточность, «сверхполость». Ему важно обосновать сексуальность Бога, необходимость физиологического акта мужчины и женщины, ибо они, совокупляясь, совершают божественное движение, начатое Творцом.

Следует учесть, что идеи андрогинности, восходящие к учению Платона, были популярны в эпоху модернизма. Владимир Соловьев и Вячеслав Иванов, как позднее Белый, Блок, Сергей Соловьев, видели в этом свой культурный идеал: истинный человек не может быть только мужчиной или только женщиной, пребывать в половой раздельности — значит, пребывать на пути к смерти.

Из андрогинности божества Розанов выводит гений Платона, Микеланджело, Леонардо да Винчи. «Это суть *Люди Тайны, люди Неисповедимости* — врожденные маги и иереи человечества, его вожди, законодатели, пророки». Предвосхищая фрейдизм с его теорией сублимации, Розанов считает половую способность обратно пропорциональной творческой: «Гений лучится оттого, что запирается как бы в плотинах воздержания». Европейская культура создана одиночеством, глубоким идеализмом, и тут Розанов не скупится на изящный афоризм: «Аромат европейской цивилизации вышел из кельи инока».

По сути, Розанов возражает только против «диктования условий», навязывания «психики содомства», когда «урод-

ство немногих служит идеалом для всех». Следствием может быть вырождение человечества, его «пересыхание»: умирает семья, люди не продолжают. Писателя раздражает, а чаще ужасает давление морального закона, ограничивающего сексуальность. Разрушительная сила этого бессеменного импульса исходит из христианства: тайное восхваление аскезы и безбрачия, «чистого» монашества и девства.

С приходом христианства сместились всемирные оценки: чего «назвать вслух нехорошо было» — засветилось как личная особенность первых гениев человечества. Именно «люди лунного света» — скопцы от рождения, содомиты — по природе «безсемянные», возведя свою аномалию в идеал, и создали метафизику христианства, которая, по Розанову, кроется в гробе, смерти и монашестве.

Легко представить общественный резонанс размышлений Розанова: впервые в России писатель открыто обсуждает бисексуальную природу человека, говорит о колебаниях пола как о предмете, достойном изучения. В эпоху модерна только начинали связывать психику с биологией пола, искать проявлений метафизического в сфере сексуальности. Среди предшественников Розанова можно, пожалуй, назвать одного лишь Отто Вейнингера, автора весьма популярной книги «Пол и характер», вышедшей в 1903 году и вызвавшей бурные отклики.

В 1913 году Розанов писал о своей книге: «Она открыла колоссальную *религиозную роль* бессеменных людей». Переворот в истории европейского человечества, полагал писатель, произошел вследствие слома старой нормы сексуальной ориентации. Позднее он увидит скопчество в революционном аскетизме, разрушительном социальном нигилизме. Все атеисты в его глазах — асексуальны.

Партийный идеолог Лев Троцкий в статье «Литература и революция» запоздало признает: «Он учил нас любить сладкое, а мы бредили буревестником и все потеряли. И вот

мы оставлены историей — без сладкого». Не горечь ли здесь слышна?

Сегодня, столетие спустя, проблемы «лунных людей» обсуждаются вслух в самой широкой аудитории. Это «колоссально значительное явление», как пророчествовал сам писатель, «должно получить другие меры, другие законы, другие мысли о себе...»

На фоне возросшей популярности гей-клубов и лесбийских «творческих союзов» стало «модно» слыть человеком «третьего пола» и как-то неловко признавать себя «традиционалом». В Интернете открыт виртуальный журнал «Люди лунного света», названием своим обязанный Василию Васильевичу Розанову, — для посетителей со всевозможными «степенями полового влечения» и порнофотографиями на любой вкус. Находятся и те, для кого, как для Мишеля Фуко, сексуальное инакомыслие приобретает идеологический, оппозиционный смысл: «Отклонение половой потребности от разрешенных властью возможностей».

Сегодня мы понимаем, как был прав Розанов. Книга его помогает освободиться от ложных установок и модернистских стереотипов, в том числе феминизма, оценивающего женщину по степени ее «перерождения в мужчину». Она возвращает нам простую и изначальную ценность: достоинство пола. Традиционная этика требует, чтобы мужчина и женщина все больше становились самими собой, смело выражая то, что причисляет одного — к мужчине, другую — к женщине. «В любви созидательное свойство тем больше и живее, чем решительнее полярность», — слова современного философа Юлиуса Эвола хорошо подытоживают сказанное Розановым о «людях лунного света».

ТЕРПЕЛИВОМУ ЧИТАТЕЛЮ, ИЛИ «ЛИТЕРАТУРА КАК ШТАНЫ»

Текст «Лунных людей» порой похож на небрежные, беглые заметки «для себя». Главы розановского сочинения нелегко читать, продираясь сквозь нескончаемые цитаты. Их надо бы набирать петитом — все это чужие статьи и даже порой брошюры, примеры из врачебной практики, автобиографии и жития «лунных людей». Автор же лишь «подмигивает» нам в примечаниях. Комментируя различные суждения, он выглядывает в сносках, язвительных и ироничных, будто кукиш показывает. Недаром его стиль называли мимическим. И если в ранних статьях ему «хотелось плакать», то теперь «серный огонь» хочет излить негодующий философ на головы приводимых им авторов. Вот эти-то саркастические замечания и есть самое главное в книге: живое выражение позиции, отношения к представленным документам.

Несомненно, здесь изобличает себя матерый газетчик, привыкший к монтажу материала, к репортажу. С юношеских лет он любил компиляцию. Но для современных читателей важнее другое — постмодернистские веяния задолго до их западноевропейских аналогов. Много десятилетий спустя русские писатели-постмодернисты (А. Синявский, Вен. Ерофеев, Вик. Ерофеев) признали в Розанове истоки своей «родословной». Он изобрел универсальный жанр хаотически сваленных как будто в одну кучу обрывков всякой всячины — дневников, рассуждений, житейских афоризмов, мемуарных зарисовок, критических заметок и публицистических выпадов. Такое построение текста, неудивительное для сегодняшнего читателя, раздражало современников. Внешняя форма его произведений воспринималась как что-то невероятное. Это настоящая «стриженная лапша»: «Ряд

писем неизвестных лиц, с подробностями интимного свойства, ни для кого решительно неинтересными. Кто же, кроме юродивого русской литературы, будет извещать об этом своих читателей?!» — писал Р. В. Иванов-Разумник.

Тем не менее философ сознательно культивирует этот способ общения с читателем. Он настаивает, что острые стрелы всего его мирозерцания выразились как раз в примечании к чужой статье. Кстати, сами два короба мозаичной розановской «Листвы» станут поистине новой формой романа, новаторской прозой, «литературой факта».

Что же касается писем, то Розанов приводил их не только для документальности — он считал письма высшим видом литературы. Высказывался, что гоголевский почтмейстер, заглядывающий в чужую корреспонденцию, был человеком с хорошим литературным вкусом. После Розанова поймут, что нельзя писать по-старому, будут пробовать вводить в книгу интимное, названное по имени-отчеству.

«ЮДОФИЛ-АНТИСЕМИТ»

Разгадывая истоки вечности Израиля, Розанов хотел найти путь к спасению России. Евреи для него всегда были не просто нация среди наций, но физиологически одаренный, сексуально одаренный и, соответственно, религиозно одаренный народ.

Однако писателя справедливо прозвали «юдофил-антисемит»: психологически он был юдофил, а политически — антисемит. Отношение Розанова к евреям резко колебалось между восторженным увлечением их ветхозаветным бытом и крайним неприятием их роли в политической жизни России.

«Евреи» для Розанова — и философская загадка, и самая актуальная проблема современности. Показательно, что

свои статьи по еврейскому вопросу Розанов планировал разделить на два тома: «Иудаизм» — с положительным взглядом на еврейство и «Иудей» — с отрицательным отношением к нему. И тех, и других набиралось поровну.

К первым, несомненно, относится работа «Юдаизм». Исследование это — на редкость глубокое проникновение в суть иудаизма, написанное неевреем. Оно пронизано горячим интересом автора к иудаизму, уважением к древнему народу, носителю таинственного Завета Авраама с Богом. Вся работа подчинена одной мысли — показать трансцендентный религиозный характер восприятия пола в иудаизме. «Корень еврейства» Розанов видит в обрезании, таинственно-непостижимой детской операции. Автор проливает свет на такие неведомые христианам стороны еврейства, как празднование Субботы и совершение в ночь на субботу полового акта, который евреи воспринимали как приближение к Богу. Много размышляет о «святой микве» — религиозном омовении, погружается в историю народа, обращается к Талмуду.

Вспышка розановского антисемитизма была вызвана полемикой вокруг «дела Бейлиса». В 1913 году вся либеральная интеллигенция и левая пресса встала на защиту еврея Менделя Бейлиса, обвиняемого в убийстве тринадцатилетнего подростка. По ходу расследования было высказано мнение, что убийство носило ритуальный характер, а раны будто бы свидетельствовали о возможном использовании крови христианского мальчика в иудейском ритуальном обряде. Общество с тревогой и волнением следило за следствием. Обвинения в религиозном изуверстве предъявлялись, собственно, целой нации. Либеральная его часть была убеждена, что варварский обычай жертвоприношения невозможен в цивилизованном XX веке. И суд над Бейлисом — это суд над оппозиционным к правительству еврейством, а ритуальное убийство — средневековая сказка, возрожденная антисемитами для возбуждения национальной и рели-

гиозной розни. Среди державшихся противоположного мнения многие были глубоко встревожены тем, что христианский мальчик действительно мог быть убит религиозными изуверами, и беспокоились, как бы дело не было замято под давлением сочувствовавшей Бейлису прессы. В то же время наряду с желанием основной части общества объективно разобраться в происшедшем обсуждение чрезвычайно болезненного вопроса дало националистам повод для антисемитской истерии.

Розанов оказался в очень трудном положении. С одной стороны, вряд ли среди русских был еще хоть один такой энтузиаст еврейского национального быта, знаток и поклонник иудаизма. С другой стороны — парадокс вечно противоречивого Розанова состоял в том, что при всех своих религиозно-философских симпатиях к еврейству в публицистике он почти неизменно выступал с позиций национальных интересов русского народа.

По мере приближения суда над Бейлисом Розанов публикует одну статью за другой. В период ожесточенной полемики, вызванной процессом, он высказывается о евреях в крайне резких выражениях. Было выпущено несколько его антиеврейских брошюр. Первая и самая скандальная из них — «Об обонятельном и осязательном отношении евреев к крови». В ней он доказывал, что евреям вообще присуще ритуальное и физиологическое влечение к человеческой крови, косвенно обосновывая виновность Бейлиса. Впоследствии Розанов за эту книгу и за другие свои антисемитские высказывания просил — в печати, публично — извинения у евреев. В другой брошюре Розанов выводил причину всемирных успехов еврейской нации из ее женственности и вытекающей отсюда необъяснимой «прилепленности» к соседним племенам, из «чар ласки и любезности». Резко антисемитский характер носит книга «Европа и евреи», которая рисует будущее Европы как мучительную борьбу против «семитизации европейского духа» и показы-

вает принципиальную внутреннюю отчужденность еврейского «кошерного» мировосприятия от «трефных» европейских культур. И хотя в его обличениях основную роль играли не антисемитские мотивы, а неприемлемая для него связь еврейства с радикальным движением, это никак не уменьшило число его противников в оппозиционных кругах. Он оказался едва ли не в эпицентре конфликта.

Естественно, что в тот момент статьи Розанова на тему ритуального убийства воспринимались как призывы к погрому. И «либеральный террор» развернулся против него со всей своей пропагандистской мощью. Помимо охаивания в радикальной печати, он подвергался оскорблениям и угрозам неизвестных лиц, звонивших и писавших ему домой. Розанова, демонстративно противопоставившего себя «общественности», атаковали по всем фронтам. Не осталось в стороне и Религиозно-философское общество. Бейлис был признан невиновным, дело прекращено, а «дело Розанова» продолжалось. Осенью 1913 года Совет Общества постановил исключить Розанова, одного из своих основоположников, из своих рядов в связи с тем, что его последние выступления в печати были «несовместимы с общественной порядочностью». За исключение проголосовало большинство членов Общества, и одними из первых — бывшие друзья — декаденты Мережковский, Философов, Гиппиус.

После исключения для писателя настали тяжелые времена. Он подвергся общественному давлению и бойкоту в левой прессе. Совсем перестали расходиться книги, прекратились его воскресные журфиксы.

«ДОРОГ НАМ РОЗАНОВ... ОДНОДУМЬЕМ»

При всей кажущейся бессистемности розановское наследие — удивительно стройная концентрическая система. «Дорог нам Розанов... тайной своей, однодумьем своим», — писал об этом А. Блок. Проблемы, которые волновали философа: семья, христианство, язычество, пол, — не отпускали его всю жизнь, а только варьировались в зависимости от жанра, организуя и структурируя творчество:

— во-первых, публицистику, преимущественно газетные статьи, часть которых объединена в сборники (например, «Семейный вопрос в России» — сборник статей о реформе законодательства о разводах; «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» — сборник статей о деле Бейлиса; «Война 1914 года и русское возрождение» — сборник статей о Первой мировой войне и т. д.);

— во-вторых, труды, посвященные серьезной разработке какого-либо одного мировоззренческого вопроса («О понимании», «Темный лик», «Люди лунного света», «Около церковных стен», «Легенда о Великом Инквизиторе» и т. д.);

— в-третьих, художественные произведения, образующие ядро розановской философии. Это книги «Уединенное», «Опавшие листья» и «Опавшие листья. Короб второй». Сюда же примыкает «Апокалипсис нашего времени».

«ЛИСТЫ... СОШЛИ ПРЯМО С ДУШИ»

До выхода «Уединенного» никто не решился бы назвать его писателем. Его считали в лучшем случае — очеркистом. Настоящий Розанов-писатель родился за семь лет до смер-

ти, создав «Уединенное», «Опавшие листья» и «Опавшие листья. Короб второй».

В сущности, это одна большая книга-трилогия, состоящая примерно из тысячи «листьев». Каждый лист имеет свой размер: от афоризма до небольшой статьи. В них явлена квинтэссенция всего того, что он «надумал» в жизни.

Такой способ высказывания существовал в философской литературе и до Розанова. Можно вспомнить, к примеру, «Опыты» Монтеня, «Мысли» Паскаля или книги афоризмов Ницше. Но именно Розанов сказал здесь новое слово. Вчитываясь, очень скоро понимаешь, что ничего подобного по степени самообнажения прежде читать не приходилось — ни у него, ни у кого бы то ни было другого. Даже и представить такую откровенность в литературе трудно. Розанов записал поток своей внутренней жизни, ничего в нем не меняя и не приукрашивая.

В этом потоке нет деления на случайное и необходимое, малое и великое. Здесь равноправны идея, выношенная годами исканий, и нечаянное восклицание, забываемое через минуту. Не заботясь об отборе материала, о фабуле, Розанов фактически разрушает литературную форму. Она мешает художнику, осознается как проявление несвободы. Недаром его эстетику называют анархической. Шаблону он противопоставляет бесконечную изменчивость, ведущую к поспранию форм. По существу, Розанову удалось создать новый жанр — жанр «опавших листьев»: высказывания так же естественно «опали» с его души, как осенние листья.

И это принципиально «нелитература». Розанов не раз подчеркнет «непридуманность», искренность текста, его рукописность, «непричесанность». Мгновенная запись, сделанная на листочке бумаги и тут же отброшенная, — вот рукописность. И второй смысл рукописности: это я пишу для себя, а не для вас, не для издания в печати.

Ненависть к Гуттенбергу, к печатному слову была, кажется, прирожденной этому профессиональному литератору.

Литература представляется Розанову величайшей ложью и лицемерием. Необходимо подавить в себе «писательство», «литературщину», иначе не стать настоящим писателем.

Другое дело — «выговаривание», писание «ни для кого». Сама его жизнь растворялась в процессе писания: «Я ведь не живу и нисколько не жил, а только „писал“». Он записывает везде: на улице, в вагоне, в редакции, на извозчике, в уборной, в постели ночью. Он пишет на всем: на клочке бумаги, на обороте транспаранта, на конверте полученного письма, на подошве туфли. Эта обреченность на вечное непрерывное «выговаривание» для него сладостна до приторности, до отвращения. Ему даже читатель не нужен. Всякое движение души у него сопровождается выговариванием. И всякое выговаривание он непременно хочет записать.

Розановский текст — принципиально черновиковый. С долей кокетства философ признавался, что всю жизнь писал, никогда не марая и не поправляя. Речь Розанова — непрерывный, живой, плотный словесный поток. Он рождается на наших глазах, «выговаривается», становится рукописностью души. В его курсивах и кавычках, скобках и восклицаниях слышны интонации пульсирующей устной речи, сравнимой с сердечным «вяканьем» протопопа Аввакума.

Рукописность для него — синоним межчеловеческой близости, тепла, и он намерен преодолеть литературу своей рукописностью. Розановым владело чувство «конца» литературы, к которому он подошел, последней черты. Для модернистской культуры рубежа веков это было чрезвычайно распространенное чувство, сопряженное с осознанием завершенности какой-то большой эпохи, с предчувствием близкого исторического кризиса.

Не один Розанов называл себя последним писателем. Даже футурист Маяковский, утверждавший, что перед ним великое будущее, называл себя последним поэтом. То, что ощущал Розанов, было, конечно же, не «концом» литера-

туры, а проникновением в такие сферы человеческого бытия и сознания, которые до тех пор не подлежали литературному осмыслению. Была найдена новая, небывалая форма литературы.

Прямой связи между листьями нет; в первых книгах нет даже точной хронологической последовательности. Но все же при полном отсутствии системности в изложении Розанов демонстрирует идеальную систематичность мышления.

«Я ДАЛ В СУЩНОСТИ „ВСЕГО СЕБЯ“...»

В целом «листья» легко разбиваются на несколько основных тем: непреходящая ценность частной жизни, история и политика, литература-торг, творчество, эротика, национализм и еврейский вопрос. Всю книгу пронизывает религиозная тема, органично связанная с интимной жизнью души.

Главное, что скрепляет повествование, — это личность автора. И эта личность едина, хотя и совмещает в себе многообразие точек зрения, оценок и даже «голосов». Скрупулезные американские ученые-филологи насчитали восемь различных голосов в трилогии — настоящий полифонизм.

Да и обычный читатель с первых страниц уловит, что розановское «Я» двоятся: это и автор, и герой. Это раздвоение весьма драматично: писатель постоянно оценивает автобиографического героя, то безудержно хваля самого себя, то ругая. К этому добавляются многочисленные оценки других людей, которые воспринимаются полемически, через согласие или возражение, через спор. В результате автор—герой постоянно мимикрирует в нашем восприятии, и диапазон этих колебаний чрезвычайно широк. Например, в одной и той же записи он «дурак», «плут» и одновременно

«удивительный человек» с широтой мысли, гений. Почти в одно и то же время он восклицает: «Бедный я человек: и сирота в фактах, и убог мыслью», — и ставит себя в один ряд со Львом Толстым.

Сочинения Розанова содержат удивительно живой и выразительный портрет автора. Как он писал впоследствии, его «лицо перешло в литературу». Розанов воссоздал свой образ с яркими биографическими деталями. Но образ этот предельно снижен. Автор глумится над своей фамилией: «Все Розановы булочники», выставляет в непривлекательном свете свою «мизерабельную» внешность.

Не церемонится Розанов и с общепринятыми этическими понятиями. Он прямо выкладывает читателю, ошарашивая его: «Я считаю себя дурным человеком», «я — свинья, и бреду, куда нравится, без всякого согласия с нравственностью». «Свинский образ» предстает как крайняя демонстрация аморализма. Писатель не собирается быть проповедником устоявшихся норм морали: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали». Он творит свою свободу, а свобода в его понимании — безразличие к нравственности. «Даже не знаю, через Б или через Е пишется нравственность», — это демонстративное заявление Розанова, вершина его анархического бунтарства.

Но здесь надо быть предельно чутким. «Розановское письмо — это зона высокой провокационной активности, и вход в нее должен быть сопровожден мерами известной интеллектуальной предосторожности», — образно выразился Виктор Ерофеев. Автор «Уединенного» и последующих книг — «коробов мыслей» — предоставляет читателю широкие возможности остаться в дураках. Традиционный союз между писателем и читателем строится, казалось бы, на незыблемых принципах взаимного доверия. Писатель доверяется читателю, обнажая перед ним мир своих образов и идей. Но и читатель со своей стороны, вступая в незнакомый, зыбкий мир художественного произведения, также

испытывает потребность в верном проводнике. Тонкий и удачливый провокатор, Розанов высмеивает читательское представление о писателях. Читатель верит в исключительные качества писателя? В его благородство, высококонтрастность, гуманизм? Розанов в своих книгах не устает выставлять себя некрасивым, неискренним, мелочным, дрянным, порочным, эгоистичным, ленивым, неуклюжим... Но если читатель вообразит себе, что перед ним *автопортрет* Розанова, то в очередной раз ошибется. Розанов издевается над читателем, издевается над самим собой.

В бесстыдном самообнажении писателя, в его нарочитом кривлянии действительно есть что-то циничное. Об умственной и моральной распушенности Розанова говорилось много, современники писали и о его демонизме, и даже называли антихристом. Карикатуристы не случайно изображали его обнаженным, да и статьи о нем назывались соответственно: «Обнаженный нововременец», «Голый Розанов». Но может ли считаться аморальным человек, который имеет мужество показывать себя со всеми недостатками? Он изливает всего себя на бумагу, рассказывает весьма интимные вещи о себе, поэтому, естественно, нуждается в каком-то прикрытии своей «наготы». Налетом внешнего цинизма Розанов, по существу, прикрывает изначальную искренность, внутреннюю чистоту, почти детскую наивность и непосредственность. Цинизм для него — это способ быть интимным.

Розанов сознательно непоследователен и намеренно противоречит сам себе. Розанов — художник мысли, импрессионист. Розановское «Я» не желает быть служителем мысли, не желает приносить себя в жертву развиваемой идее. Он прислушивается к музыке мысли, музыке, сообщающей мысли характер художественного образа. Сюжетом становится собственное «Я» в текучем процессе случайных переживаний. Розанов передает мимолетное настроение своего «Я», как бы хватая мысль за хвост, стремясь до пре-

дела сократить расстояние между «я подумал» и «я записал».

Весь мозаичный текст «Уединенного», «Опавших листьев», «Мимолетного» только кажется организованным случайно. На самом деле разрозненные фрагменты складываются в единый ассоциативный сюжет, который оказывается причудливо разветвленным, демонстрируя приключения мысли, движущейся «туда» и «сюда», «направо» и «налево», к повседневности и от нее. Мозаичные фрагменты текста, пресловутые «листки» как бы слипаются, наслаиваются друг на друга в соответствии с системой лейтмотивов. Все фрагменты связаны между собой строго продуманными ключевыми словами.

Одно из таких слов в «Уединенном» — союз «или». Первое из возможных его значений соединительное: противоречивое сочетание разных сторон сплошного целого. Другое — разделительное: проблема выбора «или — или». Некоторые связи между фрагментами текста строятся на противопоставлении, другие — на ассоциативном сопоставлении. Возникает своеобразная взаимо-дополнительность смыслов. Розановское «или» емко выражает символическое содержание всего мирозерцания автора. В выборе между одним и другим заключен весь Розанов, причем подобный выбор происходит даже тогда, когда слово «или» только подразумевается, а не сказано вслух. Однако оно ожидается читателем, оно как бы запрограммировано самим автором. Слово это не просто союз, а способ моделирования мира: инструмент создания розановской картины мира — многомерной, гетерогенной, текучей. И одновременно это выражение авторской позиции, принцип вариативной, изменчивой точки зрения на этот мир.

«Может ли быть мозаична историческая культура?» — однажды сформулировал Розанов вопрос. Мозаичная культура, модель которой обосновывает писатель, строится на том, что все ее разнородные компоненты признаны в своей

особой правоте — наряду с другими, столь же правомерными. Это тот случай, когда рядом с известным утверждением допускается «лежать другому, из чужого огорода», несмотря на разные «любви» и «ненависти». Особость каждой правоты, равно как и допускаемость чуждых принципов, в совокупности составляют парадоксальную системность мозаичной культуры, основанной на связке «или».

«Опавшие листья» представляют собой органическое продолжение «Уединенного». Розанов не хотел искать чего-то нового, продолжая разрабатывать возможности так счастливо найденного жанра. Своей «душой» называл он сочинения в жанре «опавших листьев». Ему удалось большее: через свое «маленькое» передать общечеловеческое, символическое — воссоздать неуловимую «душу» человека на метафизическом уровне как проявление универсальной Души мира.

Неслучайно каждый новый афоризм «Уединенного» и «Опавших листьев» печатался на отдельной странице и крупным шрифтом. Это подчеркивало поэтичность его прозы, подталкивало к медленному и вдумчивому чтению. Собственно говоря, все его «листья» суть иероглифы. Их нужно воспринимать не только на слух, но и зрительно. В них нужно всматриваться, отгадывать.

Да, мракобес и циник. Но приглядишься, и «лужицы» его афоризмов превращаются в бездонные омуты.

«ПРОРОК» ИЛИ «ЮРОДИВЫЙ»?

Сложным, непредсказуемым человеком был Василий Васильевич Розанов, успевший поспорить едва ли не со всеми своими современниками. Мало найдется в русской литературе писателей, вокруг которых кипели бы такие ли-

тературные битвы, перекрещивалось столько копий из противоположных лагерей, как вокруг и по поводу Розанова. Он был весь соткан из противоречий, и лучше всего это видно в его «листве».

«Саморазорванность» Розанова как бы повторяет антиномичность русской жизни, русского национального характера. Он не был двуличен, он был двулик. Подсознательная мудрость его знала, что гармония мира — в противоречии, что влечение к антиномиям приближает нас к тайнам мира. «Обширность» для Розанова — черта идеального человека. Обширный человек по «амплитуде размаха» совмещает в себе «несовместимые контрасты жития, звуков, рисунков, штрихов, теней, идеалов, „памяток“, грез», — так он писал с восхищением об одном из своих друзей, но это с полным правом можно считать и самохарактеристикой.

Современники часто называли писателя юродивым и даже находили не совсем нормальным. Юродивый — это святой, представляющий себя дураком. Поведение юродивого отличается крайней парадоксальностью. Его поступки непредсказуемы и противоречивы: мудрость чередуется с вызывающей глупостью, смирение — с агрессивностью, самоунижение — с насмешкой.

Правда, в модернистских кругах все алогичное, иррациональное вызывало интерес и даже было модным — как реакция на засилье позитивизма. Можно вспомнить немало писателей (Михаил Ремизов, Велимир Хлебников), у которых прослеживаются те или иные проявления юродства. Но Розанов среди них — один из самых ярких и последовательных юродствующих. Он умеет сказать так много отрывочной, а то и припадочной, репликой, междометием, парадоксом. Парадоксальность его афоризмов прикрывается или пародийной стилизацией, или юмором, или нарочитой наивностью, а чаще всего антиномичностью, то есть «сшибанием лбами» двух диаметрально противоположных высказываний. Его невероятные перепады от самоуничтожения к

самовосхвалению, от смирения к гневному обличительству совершенно непредсказуемы.

Розанов сознательно шокирует читателя, провоцирует негодование обывателя. Но эпатаж — не самоцель: он сбивает читателя с традиционной рациональной манеры мышления. Через призму его восприятия переосмысляются и как бы оглуляются известные книжные сюжеты, житейские и бытовые проблемы. Срабатывает нечто вроде эффекта «отстранения», описанного позднее русскими литературоведами-формалистами, прежде всего Виктором Шкловским. Некий шаблонный смысл, помещенный в необычный смысловой контекст, начинает играть новыми, неожиданными гранями. В старом рождается новое. Это творческое, отстраненное видение непривычного в привычном сквозь шелуху предубеждений и стереотипов восприятия.

Он ставит под сомнения общепринятые ценности позитивистской морали. Обнажая собственные слабости, дерзкими выпадами обрекая себя на положение изгоя, как бы получает право говорить все, что думает, обличать пороки людей и общества.

Розанову близко народное понимание правды, образ Иванушки-дурачка вызывает его симпатию и сочувствие как русский национальный тип. Он видит в нем народный потаенный спор против рационализма, рассудочности и механики, народное отстаивание мудрости, доверие к Богу, доверие к судьбе, доверие даже к случаю. «Дураком» вообще Розанов называл себя охотно и по всякому поводу: «Я не „блудный сын“ Божий... Но я шалунок у Бога. Я люблю шалить. Шалость, маленькие игры (душевные) — мое постоянное состояние».

Он до старости чувствовал себя мальчишкой-озорником. Детское восприятие, как и народное, особо привлекало писателя своим чистым, лишенным рассудочности и практицизма мышлением. Полностью отказаться от юмора и озорства он не захочет и в старости, и даже перед смертью. Одно из

своих предсмертных писем Розанов подписал, в соответствии с канонами юродства: *«Васька дурак Розанов»*.

Смеется Розанов очень часто, и над собой не менее часто, чем над окружающими. Ирония, шутовство, арлекинада постоянно оживляют его сочинения. Смех критиков над ним ему не страшен: он сам знает, что смешон, и рад смешить. Розанову решительно не нравятся люди без чувства юмора, строгие, самоуверенные проповедники прописной морали. Неслучайно один из его упреков Христу: «Христос никогда не смеялся». Со своим юродством и алогизмом Розанов настолько далек от рассудительной европейской мысли, что его жизненная философия может рассматриваться лишь в контексте миропонимания русского народа, в свете народной философии «дурака». Суть России в том, что она иррациональна, не раз подчеркивал он.

Мыслитель переменчив во всем, его парадоксальность проявляется в трактовке любой темы — ни в одной нет однозначных решений. Критика не раз упрекала писателя в равнодушии и даже в нелюбви к истине. Это несправедливый упрек. Дело в том, что для Розанова нет прямых решений, простых ответов и все объясняющих схем. Истина раскрывается в борьбе, страданиях, в кипении «да» и «нет». Эта диалектика сродни Гераклитовой: жизнь проявляется в том, что каждое свойство переходит в свою противоположность. Истину можно лишь нащупать многократными касаниями с разных сторон. Только «тысяча точек зрения на предмет» может его реально очертить. Эта парадоксальность проистекает из мистического понимания мира как динамического, исполненного движения Космоса, в центре которого — Бог. Как утверждал сам философ, юродство души человеческой, первоначальное, неистребимое, лежит в основе религии. Ведь сам мир парадоксален, диалектичен, полон антиномий и загадок. В нем нет рационального порядка.

И не надо сглаживать противоречия, считал мыслитель. Поэтому, возможно, Розанов был против сведения своих

сочинений воедино, рекомендуя «мудрому» оставить их в хаосе, в брожении, в безобразии. Так и предстают перед читателями взгляды Розанова — нераспутанным клубком противоречий и острями нерешенных вопросов.

Его способ мудрствования ученые назвали профетизмом — пророчествованием. Пророческое начало, которое определенно ощущал Розанов в себе, естественно вытекает из его юродства, из напряженности его мистического чувства. Пророк — это пограничный тип между философом и боговдохновенным мудрецом. Пророчество совмещает в себе и страстную религиозность, и рационалистическое мышление. Ценность пророков состоит не только в том, что они предсказывают будущее, но и в том, что сам тип их личности совмещает драму юродивого и «надрыв» мыслителя-теоретика.

Пророчествующими мудрецами можно назвать Льва Толстого и Федора Достоевского, Владимира Соловьева и Константина Леонтьева. Все они сочетают эсхатологизм, то есть предчувствие конца света, и веру в грядущее Воскресение. Творчество каждого есть набат, пробуждающий русскую философию и литературу, толкающий их к религии. Одновременно оно обличает социальные пороки, обнаруживая корни этих пороков все в той же религии.

«РЕВОЛЮЦИЯ — ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

В первое десятилетие века Розанов заметно «полевел». Окончилась скука, в которой исчерпал себя XX век, жизнь, наконец, сдвинулась с мертвой точки — и понеслась, закружилась в революционной стихии. В книге «Когда начальство ушло» писатель отдается чувству восторга, запечатлевая поэзию и этакое «площадное веселье» Первой русской рево-

люции. Однако для него революция — в каком-то смысле историческая экзотика. В ней «страшно и хорошо». Страшно оттого, что все замыслы революционной толпы грозны, хорошо потому, что с ней легко можно забыть себя, потерять всегда чем-то больное собственное «Я». Революция в глазах Розанова — некое космическое художество, антипод разумности и рациональности. Но если вчитаться в книгу, формально приветствующую русскую революцию, то уже в ней немало подводного пессимизма в оценках и российской феерической революционности, и самой России. По окончании революции скелет умирающего режима всплывет почти весь наверх, как тонувший и не утонувший утопленник.

После Февральской революции 1917 года атмосфера всеобщего обновления внушает надежды большей части интеллигенции. Розанов даже собирается развить в статьях идеологию революции и дать ей оправдание. Радуюсь, что февральские события были бескровными, он придумал для них термин — «христианская революция». После удаления «гнилого зуба» — Николая II — общее самочувствие страны должно улучшиться, полагает писатель. Благоприятный исход революционных событий он связывает с надеждой на мирное, христианское развитие народовластия.

Но недолго он был романтиком. Все острее чувствовалось приближение кровавой смуты, и радужные настроения постепенно испарялись. «Обыватель» — осторожно и символически подписывает теперь Розанов свои политические заметки. Проницательного публициста тревожит, что понятие «буржуазия» все чаще раздается с ненавистью из лагеря социал-демократов. Для него-то «буржуа» — это все врачи, адвокаты, писатели — «собственно, все умственное и все очень трудолюбивое население страны». Ему чужда и страшна идея классовой борьбы. Он уже предвидит страшное будущее, опасаясь, не перейдет ли это в глухой рев народных волн: «Рубить у нации все золотые головы. Срубить и оставить одни оловянные». Классовой борьбе Розанов

противопоставляет «народный дух». Он уверен: нет русской буржуазии и нет русских рабочих, а есть правильное русское сердце и открытая русская душа. Революция — это раскол, «мы и вы». А Человечество — Я. Единое. Как Одно Небо и Один Бог. Вот почему революция — это предательство: она влечет измену общечеловеческим интересам.

В революции люди теряют осознание действительности и живут завтрашней радостью. Революционеры не понимают сложившегося государства, а русский народ для них — всего лишь материал, «масса» для осуществления их высокой идеи. Именно самоуправство партии над народом лежит в основе русской революции. Рабочий класс для Ленина — то же, что руда для металлста, и он хочет отлить из этой руды социалистическое государство.

В Розанове крепко сидела его родовая теория. Он не любил «революционеришек», потому что они «не понимают боли, не понимают смерти, не понимают рождения». Розанов не только всем существом отвергает революционный терроризм, но и осмысливает это явление, ищет его корни. Как же зарождается психология террора? Из нигилизма, из презрения к России, считает философ.

Октябрь 1917 открыл последний, трагический период жизни философа. Перед самым переворотом Розанов с семьей уезжает из Петрограда в Сергиев Посад, где надеется выжить и прокормиться.

Всю жизнь литературный талант кормил Розанова и позволял содержать большую семью. Но теперь наступили суровые времена, и он, со своим исключительным даром, никому стал не нужен. Все меньше оставалось прежних изданий. А в новые, большевистские, дорога для Розанова была закрыта. Деньги обесценивались, и все прежнее благополучие семьи, которым он так дорожил и гордился, — пошло прахом. Жизнь началась с нищеты и нищетой кончалась. Сохранились его письма к писателям с просьбами о помощи — отчаянные, безнадежные крики выброшенного

из жизни. Он замерзал в буквальном и переносном смысле. «Безумно хочется тепла», — не сходило с языка. Забирался с ногами в топящийся камин, чтобы согреться, укутывался грудой одеял — не помогало. Душа мерзла... Розанов умер от революции. От унижения, боли и голода, которые она несла.

АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Все это в сочетании с ломкой всех устоев русской жизни вызвало у писателя поистине апокалиптические чувства. Предсмертный духовный кризис мыслителя отразился на страницах его последнего писания. С ноября 1917 года он начал выпускать маленькие книжечки на серой бумаге — что-то вроде журнала или «дневника писателя»: «Апокалипсис нашего времени».

Этот труд Розанова был задуман как книга историческая, подводящая итоги человеческой цивилизации и истории всех религий. Интимно-бытовой материал здесь не играет прежней важной роли — это не биография Розанова, а краткая биография всех времен и народов. Таинственное значение слова «Апокалипсис» указывает не просто на прерывание, а на крушение традиции, ибо традиция не есть только цепь, а скорее дом и храм, кров и покров. И Древний мир с его язычеством, и христианство, и европейская цивилизация в целом — все завершается для автора в эти дни революции. Революция — это последний, отрицательный итог, в свете которого рассматривается всемирная история.

В такой глобальной постановке вопроса Христос и христианство оказываются виновниками нынешней всемирной катастрофы. Розанов как будто возвращается в свою «анти-

христианскую» критику десятилетней давности. На страницах книги он снова восстает на христианство и Христа, ругает его за «вялость», «безмузыкальность», «половую немощь». Христос, по мнению Розанова, подготовил революцию — тем, что лишил мир религиозной «начинки», религиозного смысла. Разрушив религию Бога-Отца, на которой прочно покоился весь Древний мир, Христос не принес ничего взамен и создал религию смерти, а земная жизнь осталась без Бога. Религия ушла в «монастыри» и стала там религией без пола, без жизни, без мира, а мир остался без религии. И поэтому мир так легко провалился в небытие революции. Революция была для писателя провалом, позорным провалом всех старых сил России, которые оказались слабыми и ненадежными: и царство оказалось гнилым, и Церковь оказалась гнилой, и все традиционные сословия великой Российской Империи. Русский народ-богоносец, воспетый Толстым и Достоевским, в один миг оказался толпой хулиганов и безбожников. Брат пошел войной на брата, повсюду голод и мор, и это закономерный конец христианской цивилизации, «обезбоженной Христом». По Розанову, Апокалипсис гласит не о конце мироздания вообще, а о конце только одной христианско-европейской цивилизации. После чего начнется «новая земля» и придет «новая религия».

«А ЧТО ЖЕ РУССКИЕ?»

Итоговая книга Розанова стала памятником своего времени, повествующим о том, «как падала и упала Россия». Это была трагическая хроника дней и размышлений, подобно «Окаянным дням» Бунина, «Слову о гибели русской земли» Ремизова. Розанов видит, что вокруг только пустота души, лишившейся древнего содержания. Мало добро-

ты, мало тепла, холодно, одиноко в России. «Где, однако, погибло русское дело, русский дух? как все это могло стать? сделаться? произойти?» — восклицает писатель, и его пафос сродни «Золотому слову Святослава», со слезами смешанному.

Не раз он сам в течение всей своей жизни указывал на опасности и угрозу этой разверзающейся революционной перспективы. Но, видимо, ему все-таки по-настоящему не верилось. «Русь слиняла в два дня. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных...» — сокрушается мыслитель.

В последней книге много тем, но основное — о судьбах России. «Апокалипсис» пронизывает неизбывная боль за Россию. Революция становится для автора символом гибели старой России. Ему жаль старую Русь, и он проклинает творцов революции. Это они, нигилисты, испортили русский склад жизни, мыслей и чувств. Разожгли вражду и нетерпимость. Русский нигилизм — это неуважение к национальным созидательным традициям. У русских нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства. Вот что страшно. С одной стороны, нет мечты своей родины, с другой — чувство, что «до нас ничего важного не было». Задумываясь о причинах такого отношения к своей стране, Розанов отмечает нигилистичность самой русской литературы, ее обличительный характер. К «отцам» русского нигилизма он относит Белинского и Гоголя, Грибоедова и даже Лермонтова. Русская литература расшатала общество, привив идеалы отрицания и разрушения. Все наше образование, и университеты в том числе, пронизаны нигилизмом, отрицанием и насмешкой над Россией. Розанов сам через это прошел, и в результате утвердился в том, что вовсе не университеты вырастили настоящего русского человека, а добрые безграмотные няни.

Философ понимал, что Россия на краю бездны, ей необходимо покончить с губительной стихией бунта, встать на

рельсы внутренней цивилизованности, которая вновь виделась ему в библейской эсхатологической культуре. Преодолевая национальное самолюбие, Розанов призывал учиться у евреев трепетному отношению к национальным святыням.

Исход один: заново обрести подлинные ориентиры человеческого бытия, которые были заложены в Пятикнижии. Это был розановский завет России. Катастрофа 1917 года доказала, что не об избранности своей надо думать, а просто ставить Россию на ноги. Не заноситься в гордыне, тягаться с народом Божиим, а найти свое дело, определиться, выявить свою внутреннюю сущность — и выжить. Поэтому возродить Россию невозможно без вытравливания лжемессианства. Стране нужно не учить другие народы, а учиться быть собой. Всеми силами Розанов стремится разоблачить ложный пафос общественности. Он не приемлет официально-торжественный и принудительный патриотизм: чувство Родины должно быть «великим горячим молчанием».

Странное дело: в своих писаниях Розанов чаще всего ругает Россию, выбирая самые грубые, а порой и непотребные слова. В этом и заключается парадокс его «темы России» — чем больше он ругает Россию, тем сильнее он ее любит. Его любовь просвечивает сквозь ругань. Это любовь вопреки логике. Вопреки всему плохому, что он знает и говорит о России.

Розанов сдержал высказанное им в «Опавших листьях» обещание — любить Россию не в славе, не в величии, а в последнем унижении смерти.

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. В. РОЗАНОВА

Посмотришь на русского человека острым глазком...
Посмотрит он на тебя острым глазком...

И все понятно.

И не надо никаких слов.

Вот чего нельзя с *иностранцем*.

«Уединенное»

Кто не знал горя, не знает и религии.

«Опавшие листья (короб второй)»

Сколько прекрасного встретишь в человеке, где и не ожидаешь...

И сколько порочного, — и тоже где не ожидаешь.

(на улице)

«Уединенное»

Созидайте дух, созидайте дух, созидайте дух! Смотрите, он весь рассыпался...

(на Загородном пр.; кругом проститутки)

«Уединенное»

Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня.

(в дверях, возвращаясь домой)

«Уединенное»

Русская жизнь и грязна, и слаба, но как-то *мила*.

Вот последнее и боишься потерять, а то бы «насмарку все». Боишься потерять нечто *единственное* и чего *не повторится*.

Повторится и лучшее, а не *такое*. А хочется «такого»...

(на Волково)

«Опавшие листья (короб первый)»

Благовари каждый миг бытия и каждый миг бытия увековечивай.

(почему пишу)

«Уединенное»

Смысл — не в Вечном; смысл — в мгновениях.

Мгновения-то и вечны, а Вечное — только «обстановка» для них. Квартира для жильца. Мгновение — жилец, мгновение — «я», Солнце.

«Опавшие листья (короб второй)»

Нагими рождаемся, нагими сходим в могилу.

Что же такое наши одежды?

Чины, знатность, положение?

Для прогулки.

День ясный, все высыпали на Невский. Но есть час, когда мы все пойдем «домой». И это «домой» — в землю.

(октябрь)

«Опавшие листья (короб второй)»

Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь.

«Опавшие листья (короб первый)»

Не литература, а *литературность* ужасна; литературность души, литературность жизни. То, что всякое *переживание* переливается в играющее, живое слово: но этим все кончается, — само *переживание* умерло, нет его. Температура (человека, тела) остыла от слова...

«Опавшие листья (короб первый)»

Что самое лучшее в прошедшем и давно-прошедшем? Свой хороший или мало-мальски порядочный поступок. И еще — добрая встреча: то есть знание доброго, подходящего, милого человека. Вот это в старости ложится светлой, светлой полосой, и с таким утешением смотришь на эти полосы, увы, немногие.

Но шумные удовольствия (у меня немного)? так называемые «наслаждения»? Они были приятны только в момент получения и не имеют никакого значения для «потом».

Только в старости узнаешь, что «надо было хорошо жить». В юности это даже не приходит на ум. И в зрелом возрасте — не приходит. А в старости воспоминание о добром поступке, о ласковом отношении, о деликатном отношении — единственный «светлый гость» в «комнату» (в душу).
(глубокой ночью)
«Уединенное»

Грубы люди, ужасающе грубы, — и даже по *этому* одному, или главным образом *по этому* — и боль в жизни, столько боли...

(на билете в Славянское Общество; «победы»)
«Опавшие листья (короб первый)»

Боль жизни гораздо могущественнее *интереса к жизни*. Вот отчего религия всегда будет одолевать *философию*.
(за нумизматикой)
«Уединенное»

В 14 лет «Государственная» Дума промотала все, что *князья Киевские, цари Московские и императоры петербургские*, а также сослуживцы их доблестные накапливали и скопили в тысячу лет. Ах, вот где закопаны были «Мертвые души» Гоголя... А их искали вовсе не там... — А что же русские? — Досыпали «сон Обломова», сидели «на дне» Максима Горького и, кажется, еще в «яме» Куприна... Мечтая о «золотой рыбке» будущности и исторического величия...

«Рассыпавшиеся Чичиковы», 1917

В России вся собственность выросла из «выпросил», или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». *Труда* собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается.

(Луга—Петербург, вагон)

«Уединенное»

Русский болтун везде болтается. «Русский болтун» — еще не учитанная политиками сила. Между тем она главная в родной истории.

С ней ничего не могут поделаться — и никто не может. Он начинает революции и замышляет реакцию. Он созывает рабочих, послал в первую Думу кадетов. Вдруг Россия оказалась не церковной, не царской, не крестьянской, — и не выпивочной, не ухарской: а в белых перчатках и с книжкой «Вестника Европы» под мышкой. Это необыкновенное и почти вселенское чудо совершил просто русский болтун.

Русь молчалива и застенчива, и говорить почти не умеет: на этом просторе и разгулялся русский болтун.

«Опавшие листья (короб первый)»

И вот, при всем этом, люблю и люблю только *один* русский народ, исключительно русский народ... У меня есть ужасная жалость к этому несчастному народу, к этому уродцу, народу, к этому котьке — слепому и глупому. Он не знает, до чего он презренен и жалок со своими «парламентами» и «социализмами», до чего он есть просто последний вор и последний нищий...

...Клянусь и проклинаю. И только эту «вошь преисподнюю» и люблю. И хочу — сгнить, сгнить — с нею одной, рыдая об этой его окаянной швивости.

...Но не буду повторять «скорбей вши и о вшах». Господь с нами, все-таки. Господь с Россией все-таки, то есть даже с революционной и следовательно окаянной.

Из письма 1918 года

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ В. В. РОЗАНОВА

- 1856** — в Ветлуге Костромской губернии в семье чиновника лесного ведомства родился Василий Васильевич Розанов.
- 1878—1882** — обучение на историко-филологическом факультете Московского императорского университета.
- 1880** — венчание с А. П. Суловой.
- 1882** — начало преподавательской службы в прогимназии в Брянске.
- 1886** — выход в Москве первой книги *«О понимании»*. Разрыв с А. П. Суловой.
- 1887** — переезд из Брянска в Елец. Начал учительствовать в елецкой гимназии.
- 1888** — начало «сердечной истории» с Варварой Дмитриевной Бутягиной.
- 1889** — поездка в Петербург и знакомство с Н. Н. Страховым (переписка с ним с января 1888). Появляются первые журнальные статьи в «Русском вестнике».
- 1891** — в «Русском вестнике» печатается *«Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского»*. Тайное венчание с В. Д. Бутягиной. Переезд с женой в г. Белый (преподает в прогимназии).
- 1893** — коллежский советник В. В. Розанов перемещен по службе в Государственный контроль в Петербурге. Пе-

- реезд в Петербург. Поселился с семьей на Петербургской стороне.
- 1897** — знакомство с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус.
- 1899** — приглашение А. С. Суворина работать в редакции «Нового времени». Начало постоянного сотрудничества в газете. Переезд на Шпалерную улицу, где начались «воскресенья» Розанова. В течение года выходят книги: «Литературные очерки», «Сумерки просвещения», «Религия и культура». Начинает печататься в «Мире искусства» (1899—1904).
- 1903** — поездка к Л. Н. Толстому в Ясную Поляну. Выходит книга «Семейный вопрос в России». Начинает печататься в журнале «Новый путь».
- 1910** — выход книги «Когда начальство ушло». Паралич у Варвары Дмитриевны. Выходит книга «Темный лик. Метафизика христианства» — часть уничтоженной цензурой книги «В темных религиозных лучах».
- 1911** — выход книги «Люди лунного света. Метафизика христианства» — часть уничтоженной цензурой книги «В темных религиозных лучах».
- 1912** — цензура наложила арест на только что изданное «Уединенное».
- 1913** — выход в свет «Опавших листьев (короб первый)».
- 1914** — резолюция Религиозно-философского общества о «невозможности совместной работы» с Розановым. Исключение его. Выход книг «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови», «Война 1914 года и русское Возрождение».
- 1917** — переезд семьи Розановых в Сергиев Посад близ Троицко-Сергиевой лавры. Начало выпусков «Апокалипсиса нашего времени».
- 1919** — кончина В. В. Розанова в Сергиевом Посаде.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. В. РОЗАНОВА

- О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1886.
- Место христианства в истории. Речь, произнесенная по поводу 900-летия крещения русского народа на публичном акте Елецкой гимназии 1 октября 1888 г. М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890.
- Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского // Русский вестник, 1891. № 1,2,3,4.
- Религия и культура. Сборник статей. СПб.: П. Перцов, 1899.
- Сумерки просвещения. Сборник статей по вопросам образования. СПб.: П. Перцов, 1899.
- Природа и история. Сборник статей. СПб.: П. Перцов, 1900.
- В мире неясного и нерешенного. СПб.: Типография М. Меркушева, 1901.
- Семейный вопрос в России. СПб.: Типография М. Меркушева, 1903. Т. 1—2.
- Около церковных стен: в 2-х т. СПб.: Типография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906.
- Русская церковь. Дух. — Судьба. — Очарование и ничтожество. — Главный вопрос. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1909.
- Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1910.
- Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб.: Типография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1911.

- Темный лик. Метафизика христианства. СПб.: Типография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1911.
- Уединенное. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1912.
- Опавшие листья//Новое время. Типография товарищества А. С. Суворина, 1913—1915.
- Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови//Новое время. Типография товарищества А. С. Суворина, 1914.
- Война 1914 года и русское возрождение //Новое время. Типография товарищества А. С. Суворина, 1915.
- Апокалипсис нашего времени. Вып. 1—10. Сергиев Посад, 1917—1918.

ЛИТЕРАТУРА

- В. В. Розанов: Pro et contra: Личность и творчество В. Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология / [Сост. В. А. Фатеев]. СПб., 1995. Кн. 1., Кн. 2.
- Голлербах Э. Ф.* В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг., 1922.
- Ерофеев В. В.* Разноцветная мозаика розановской мысли // В. В. Розанов. Несовместимые контрасты жития: [Литературно-эстетические работы разных лет]. М., 1990.
- Курганов Е., Мондри Г.* Василий Розанов и евреи. СПб., 2000.
- Лавров В. А.* Возвращение Василия Розанова: Из истории русской литературы XX века. СПб., 1997.
- Николюкин А. Н.* Розанов: [Жизнь и творчество]. М., 2001.
- Носов С. Н.* В. В. Розанов. Эстетика свободы. СПб.; Дюссельдорф, 1993.
- Пишун В. К., Пишун С. В.* «Религия жизни» В. Розанова. Владивосток, 1994.
- Ремизов А. М.* Кукха, Розановы письма: [Переписка]. Нью-Йорк, 1978.
- Розанова Т. В.* «Будьте светлы духом»: Воспоминания о В. В. Розанове. М., 1999.
- Синявский А. Д.* «Опавшие листья» Василия Васильевича Розанова. Париж, 1982.
- Фатеев В. А.* С русской бездной в душе. Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2002.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
«Над его детством хочется плакать...»	4
«Как хорошо, что я проспал университет»	7
«Понимающий среди непонимающих»	9
«Гениальное порождение русской провинции»	12
«Достоевский писал мою душу»	15
«Сумерки просвещения»	21
«Философия жизни»	25
«Тут моя семейная история и сыграла роль»	27
«Дайте мне только любящую семью»	29
«Махровский консерватор» и славянофил	33
«Розанов стоит по ту сторону правды и лжи»	35
«Я веду великий суд с литературою...»	37
«Я стал любить декадентов»	42
«Цинический мистик из города Санкт-Петербурга»	46
Они «раскачивали корабль русской мысли»	48
«Почему я так люблю фаллос?..»	52
«Христос рассекал Розанова пополам...»	55
«Люди лунного света»	61
Терпеливому читателю, или «Литература как штаны»	65
«Юдофил-антисемит»	66
«Дорог нам Розанов... однодумьем»	70
«Листы.. сошли прямо с души»	70
«Я дал в сущности „всего себя“ ...»	73
«Пророк» или «юродивый»?	77
«Революция — это предательство»	81
Апокалипсис нашего времени	84
«А что же русские?»	85
Из произведений В. В. Розанова	88
Хронология жизни В. В. Розанова	92
Произведения В. В. Розанова	94
Литература	95

www.natahaus.ru

Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, вы берёте на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и распространение. Начиная загрузку, вы подтверждаете своё согласие с данными утверждениями! Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах, и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна и запрещена! По вопросам приобретения печатной или электронной версии данной книги обращайтесь непосредственно к законным издателям, их представителям, либо в соответствующие организации торговли!

www.natahaus.ru

Мы рождаемся для любви.
И насколько мы не исполнили любви,
мы томимся на свете.
И насколько мы не исполнили любви,
мы будем наказаны на том свете.

Василий Розанов

Василий Васильевич Розанов был одним из самых ярких и парадоксальных философов и публицистов Серебряного века. Он разрушил расхожие стереотипы восприятия сексуальности. Его называли русским Фрейдом (и русским Ницше!). Ему удалось прослыть одновременно и юдофилом и юдофобом... В книге «Розанов за 90 минут» дается краткий профессиональный обзор жизни и трудов философа. Книга также содержит выдержки из работ Розанова и важнейшие даты, помогающие понять место Розанова в его эпохе и философской традиции; а для тех, кто хочет подробнее узнать о нем и его творчестве, прилагается список литературы.

ФИЛОСОФИЯ — ПРОСТО О СЛОЖНОМ!